Далия Трускиновская

Персидский джид

Государевы конюхи

Далия Трускиновская

Персидский джид

«Снежный Ком»
2007

Трускиновская Д. М.

Персидский джид / Д. М. Трускиновская — «Снежный Ком», 2007 — (Государевы конюхи)

Конюх Данила, посланный с поручением в Казань, находит у темницы метательный кинжал джерид. Набор из трёх джеридов составляет «джид». Где же два остальных? А земский ярыжка Стенька, помогая расследовать пропажу ребёнка из дома боярина Троекурова, оказывается в подземельях московского Кремля. Он догадывается, что мальчика убили. Как переплелись эти два дела? Кто убийца и какую тайну хранят подземелья? Четвёрка отважных конюхов и земский ярыжка — снова соперники в деле государственной важности.

© Трускиновская Д. М., 2007
© Снежный Ком, 2007

Далия Трускиновская
Персидский джид

– Ступайте все, – велел Башмаков подьячему и писцам. – Ступайте с Богом…

Сам вошел в соседний покой и сел за стол, по обоим концам которого высились стопки книг, а посередке лежали бумаги.

Заглянул надежный человек, старый истопник Ивашка. Он порой ночевал прямо в приказе, чтобы с утра, как печи топить, сразу и браться за дело. Тем более – в весеннюю распутицу, что затянулась более положенного, ему это было удобно – нигде не застрянешь, не увязнешь, а в самый срок за работу возьмешься.

А тепло в приказе требовалось спозаранку – государь Алексей Михайлович вставал рано, и поди знай, когда вздумает заглянуть с новой затеей. Здесь у него и свой стол с особым письменным прибором, здесь ему сподручно и доклады слушать, и диктовать, и писать.

Может, сперва государь и сам полагал, что Приказ тайных дел нужен ему для заботы о любимцах – соколах и кречетах, которых было у него более трех тысяч, и, соответственно, о сокольниках и кречетниках – их, пожалуй, душ двести уже набралось. Но понемногу стали пристегиваться и всякие дополнительные заботы – Алексей Михайлович стал вести через приказ свою личную переписку, особенно по дипломатическим и военным делам, приказные подьячие рассылали грамоты воеводам – кому с выговором, кому с наказом; коли нужно было присмотреть за кем-то подозрительным, докопаться до правды в тайной кухне иных приказов – и это служащим Башмакова доверяли.

Понемногу дел прибавлялось. Всякая мысль государя прежде всего спускалась в Приказ тайных дел. Были среди тех мыслей забавные – вести, скажем, дневальную книгу, где каждый день делать записи о погоде. Озаботили также подьячих надзором за изготовлением лекарств, что казалось нелепицей лишь на первый взгляд – те, кто вернулся с польской войны, рассказывали, как в тех краях научились травить ядами неугодных людишек, и такое трофейное искусство может расцвести и на Москве. Вскоре именно сюда стали стекаться сведения о хлебных запасах в государственных хранилищах, об урожаях, о хлебном жалованье служилым людям, о состоянии крепостей, о пушках и боеприпасах, о количестве городовых дворян, детей боярских, стольников, стряпчих. Да и не только это…

Увидев, что глава Приказа тайных дел все еще не собрался домой, Ивашка громко вздохнул.

– Вот то-то и оно, – сказал на этот вздох Башмаков.

И вздох, и унылый ответ подразумевали вот что: дело, которое государь доверил Башмакову, с места пока не двигалось, хотя все его подчиненные трудились не покладая рук – вернее, можно было бы и пошутить «не покладая ушей», однако Дементию Миничу было не до шуток.

Опять объявились воровские деньги…

Опять на торгу стоял шум и ор, опять волокли ни в чем не повинных людей в Земский приказ. А ночные обходы Москвы, когда у всякого двора башмаковские дозоры останавливаются и со всем тщанием слушают – не раздаются ли мерные удары, не чеканят ли преступники, сидя в погребах, воровских денег, опять оказались бесполезны.

И Башмаков отчетливо вспомнил, с чего все началось. Он увидел перед собой те низкие потолки, тот мрачноватый угол, откуда глядело на него оживленное светом единственной свечи, восторженное, чуть запрокинутое из-за невеликого роста, лицо, он услышал звонкий и радостный голос, перешибающий все возражения своей просветленной правотой.

В год семь тысяч сто шестьдесят второй от сотворения мира…

– Коли не нарушать нашего древнего благочестия, то и надобно считать от сотворения мира, а во всех странах, даже и в Польше, считают от Рождества Христова, – сказал государев

любимец боярин Ртищев. – Как помыслишь, чем бы Богу угодить, так оно и приходит на ум: может, неверно считаем, за то и карает он нас?

– А коли от Рождества Христова, то который год у нас теперь получается? – спросил Перфильев, пальцами ловко снимая нагар со свечи.

Они сидели в малой келейке Калязинской обители и коротали вечер. Места было мало, жить по обычаю не получалось, и ютились кое-как, и встречались по вечерам для бесед без чинов. Государь был с молодой женой и детьми, ближние люди развлекались, как умели, наперекор беде… Вместе сошлись Федор Михайлович Ртищев, молодой боярин, любимец государя, назначенный дядькой наследника, который пока не в дядьках нуждался, а в няньках и обильной молоком кормилице; возглавивший недавно образованный Приказ тайных дел дьяк Томила Перфильев; того же приказа подьячий Дементий Башмаков, из приближенной к Верху молодежи, на которую государь возлагал особые надежды. Как многие приказные, он начал службу в шестнадцать лет и уже десятый год трудился исправно, а в последнее время и вовсе пошел в гору.

Боярин задумался. Любил он мудреные и с верой тесно связанные вопросы, потому, совершив умственное усилие, улыбнулся.

– Одна тысяча шестьсот пятьдесят четвертый год с того дня пошел, – объявил с тихой радостью.

А чему радоваться, коли в этот год такие напасти на государство разом рухнули? Народ возмутился против патриарха с его новшествами и поднял бунт, тут же – моровое поветрие, чума пол-Москвы выкосила, Кремль – и тот сделался пуст. Когда еще поветрие стихнет и можно станет туда вернуться? Сиди вот в монастырской келье, тоскуй…

Но было и светлое. У государя сын-наследник родился, Алексей Алексеевич.

Расти бы ему в отчем доме, а не в Калязинской обители, куда государь с ближними людьми спрятался от поветрия!

Так думал Башмаков, сильно беспокоясь об оставленных на Москве близких. И, не вмешиваясь в разговор, внимательно следил, о чем толкуют старшие (Ртищев был почти что одних с ним лет, да только Ртищев-то – боярин, а Башмаков-то – подьячий…).

– Война затянется, так все воеводы говорят, и денег не хватает, – говорил Ртищев. – Казна пуста и платить ратным людям жалованье не из чего. Да тут еще и поветрие! Сколько после него денег потребуется! А почему их у нас нет? А все потому, что у нас всякая полушка – серебряная! В каком еще государстве серебро на мелочь изводят?

Башмаков не совсем понимал, отчего война должна затянуться – начало было победное, Смоленск государь вернул, но Ртищев, возможно, знал поболее подьячего.

– Медные деньги хочешь чеканить, Федор Михайлович? – спросил Перфильев.

Башмаков насторожился – слух о том прошел, но напрямую спрашивать, о чем Ртищев с государем тайно совещаются, никто не смел.

– На то государева воля. А дело доходное!

– Каким же образом?

Молодой боярин оживился, опять улыбнулся, потянулся через стол к дьяку.

– А сам посуди! Медь серебра во сколько дешевле? Не трудись считать, уже посчитано – в шестьдесят раз! И серебро-то у нас привозное, сам знаешь – на ефимках голландское клеймо своим забиваем!

Он произнес это так, словно спокон веку из-за того и страдали, что ефимки клеймить приходилось. Но Башмаков и Перфильев не хуже него знали, что только в этом году и затеяли чужую серебряную монету перебивать. С ефимков (мало кто мог с первого захода правильно выговорить «иоахимсталер», и, правду говоря, даже не пытались, но коли поляки и литва зовут его попросту «иоахимик», – быть ему ефимком!) сбивали исконное изображение – кресты,

либо льва, либо мужика, что опирается на расписной щит, – и набивали свое: государя на коне и двуглавого орла на обороте. Использовали же при этом привычный чекан для копеек.

Государству не хватало денег, и ефимки, которыми уже давно платили жалованье иностранцам, были преобразованы в рубли, да только полноценными рублями все равно не стали – одна такая перебитая монета весила меньше, чем сто серебряных копеек вместе взятых, и из-за этого было немало мороки. Цена ефимку была шестьдесят четыре копейки, хотя и велено было считать его рублем. А еще появились полуполтины – разрубленные на четыре части и опять же перебитые талеры, которым полагалось стоить двадцать пять копеек, на деле же они стоили шестнадцать.

Башмаков подумал, что во всей этой кутерьме только медной монеты и недоставало. Ртищев словно услышал – продолжал с восторгом:

– А на медных копейках и денежках ставить можно особое клеймо, чтобы их в цене с серебряными уравнять.

– Народишко сомневаться будет, – разумно заметил дьяк. – Такого не бывало еще, чтобы медь и серебро – в одной цене. И медных денег у нас не видано. Кожаные – те бывали!

– Я ж говорю – клеймо будет!

Перфильев невольно вздохнул – в невысоком узкоплечем боярине такой огонь пылал, такая жажда благого дела, что поди с ним поспорь! Мудрено спорить с человеком, который, летя душой к великому благу, презирает колдобины под ногами.

– Клеймо подделать нетрудно.

– Да что ты мне перечишь! Вон государь – и тот со мной соглашается! И еще человек есть, что на моей стороне, – Василий Шорин, слыхал про такого?

– Слыхал. Это который от Соляного бунта разорился? – неодобрительно спросил Перфильев.

И Башмаков подумал, что дьяку, конечно же, виднее – он уже тогда был приближен к Верху и многое разумел. Дьяком в государевом имени Перфильев сделался после того, как съездил с тайным государевым поручением на Украину, к Богдану Хмельницкому, а это было дело непростое, коли после него о войне заговорили.

– Разорился, да снова нажился, богатейший купчина! Дважды в самом Архангельске таможенным головой был. И государь его уважает.

По лицу Ртищева видно было – в сподвижника своего он верит не менее, чем в чудотворный образ.

– Горяч ты, Федор Михайлович, и о людях больно хорошо думаешь, – сказал, вставая, Перфильев. – Тебе бы все с книжниками о божественном толковать, они – люди святые, чистой жизни, им пакости на ум нейдут. А что на ум купчишке взойдет, когда он эти денежки с клеймом в руки возьмет? Что таких же он у себя в подклете наваляет хоть мешок! Этого ты в расчет не брал, когда государю про медные деньги толковал?

– Наказывать будем! – воскликнул кроткий, чем и полюбился государю, Ртищев.

– Ты сперва поймай, а потом уж наказывай.

Башмаков молча согласился с Перфильевым. Умница Ртищев, паря над грешной землей в облаках, много чего понапридумает, а расхлебывать кому?

Удивило его тогда, что государь так легко позволил себя уговорить. Впоследствии выяснилось – на стороне Ртищева оказался государев тесть, боярин Илья Милославский. И был-таки пророком Томила Перфильев – оставив четыре года спустя свою должность Башмакову, он прямо и грубо сказал:

– Знаешь, Демушка, поговорку про дурня, который камень в воду бросил, а семеро умных вытащить не могут? Вот этот камень тебе на долю и достался…

Он ничего не смог поделать с изготовителями воровских денег, которых с каждым годом появлялось все больше и больше. Выловленных жестоко карали, уже с четыре сотни наказан-

ных набралось, но даже страшная казнь, заливание расплавленного свинца в отверстый рот, не пресекала воровства.

Точно так же оказался бессилен перед этой напастью Башмаков. За те три года, что возглавлял он Приказ тайных дел, будучи дьяком в государевом имени, заразу истребить не удалось.

И он даже догадывался – почему…

* * *

– Это что? – в ужасе спросил Данила.

– А что? – не понял Богдаш.

Данила всю жизнь полагал, будто дорога – ровное место, по которому удобно ходить пешком или ехать на лошади, причем желательно – наметом, машистой рысью или хоть грунью. Дорога может быть узкой, может быть топкой, может иметь иные мелкие недостатки, но… но!..

Тут же перед ним было нечто невероятное – словно бы человек, задумав проложить через лес путь, вырубил в нужном направлении деревья и получил просеку сажени в две шириной, после чего у него нашлось иное дело. Пусть пни корчует тот, кому это больше нужно, – решил человек, вот пни и остались, торча с удивительной густотой. Пешком по такой дороженьке идти – и то, петляя, взмокнешь, а на коне – так и вовсе все на свете проклянешь!

Желвак и не такое видывал, к пням отнесся спокойно, был готов к тому, что продвижение сильно замедлится.

– Вот и такие дороги у нас в государстве водятся. Тут еще, слава Богу, сухо, – сказал он. – А коли болото? И гать по нему гнилая? Тут-то мы не пропадем, а на гнилой гати казенных коней погубили бы. Ничего – поедем себе шажочком!

– А как по гатям ездить? – спросил Данила.

– Да с грехом пополам! Тут мы в любом месте с коней сойти можем, а на гати лучше этого не делать, – неторопливо посылая коня вперед, принялся растолковывать Богдаш. – А она, подлая, и по двенадцать верст порой тянется! А то еще мосты есть. Коня по такому мосту лучше всего в поводу вести – бревна толстые, да не обтесаны, соскользнет конская нога – и наплачешься ты с хромой скотиной! А то еще, бывает, бревнышки плохо промеж собой связаны, как раз под тяжестью и разойдутся. И ухнешь вместе с конем вниз!

– А может, их лесные налетчики нарочно портят?

– Гляди ты, догадливый!

До Казани оставалось еще два дня пути. Еще не высохшего после весенней распутицы, еще не дающего пустить коней во весь мах.

Данилу впервые отправили в такой дальний и длительный поход, посчитав, что пора детинушке и к настоящему делу привыкать. Однако грамоту казанскому воеводе вез за пазухой Богдаш, все деньги и подорожные у него были, особое задание в Приказе тайных дел тоже он получал.

Данила только и знал сперва, что по сторонам головой вертеть. Первое – кресты заметил. Кресты те были высокие, грубо вытесанные, стояли на ровном месте у обочин прямо посреди леса. Никакого знака – кто, мол, лежит, – не имелось.

– Прости им, Господи, все их прегрешения, вольные и невольные, даруй им царствие небесное, – быстро сказал Богдаш, когда они впервые увидели такой лесной крест. И мелко, неканонически перекрестился.

– Тут кого-то схоронили? – удивился Данила.

– Ты все про лесных налетчиков спрашивал – ну так тех, кого они при налете убили, так-то в лесу и хоронят.

– Кто?

– Да сами налетчики. Потом знакомому попу панихиду закажут – и ладно. И на том спасибо.

– Точно ли закажут?

– Они, Данила, про себя знают, что сами так-то в лесу падут. И вдруг никого не окажется, чтобы по ним панихиду оплатить? Так они вроде бы с Господом договариваются…

– Умные!

– Эх!.. – Богдаш, что с ним бывало крайне редко, затосковал. – Ведь и нас когда-нибудь под таким крестом упокоют, Данила…

Однако с Божьей помощью доехали. Выбрались на волжский берег и придержали коней, переводя с облегчением дух. С налетчиками разминулись, в трясину не провалились, кони целы, сами целы – чего еще?!

– Слава те Господи – Казань! – сказал Богдаш и перекрестился. – Ты тут, поди, и не бывал?

– Куда мне! – отвечал Данила, глядя на город, что из-за реки казался темным пятном, и лишь высокие кремлевские стены поражали белизной.

Уж на что неутомим был Голован – а шел под всадником, все ниже опуская голову. Что путь долгий – это еще полбеды, а та беда – что велено было ехать, не дожидаясь, пока дороги просохнут. Вроде уж и не распутица, и солнце пригревает, а все равно – нелегко дался коням поход.

– А я уж четвертый раз! Ты за меня держись, в посад без меня не ходи, – напомнил Богдаш. – Казань-то город русский, а с татарами там такая штука – не сразу их и признаешь.

– Как же татарина не признать? – удивился Данила, видывавший татар на Москве нередко.

– А вот и увидишь, – Богдаш усмехнулся, видать, желал полностью насладиться изумлением Данилы, угодившего в очередную нелепицу.

Спустясь к переправе, государевы конюхи дождались парома и засветло успели переправиться через Казанку, оттуда же дорога поднималась вверх – к огороженному рубленой стеной посаду.

– Что за притча! – возмутился Богдан, глядя на светлые, не успевшие потемнеть бревна. – Раньше до Тайницких ворот вдоль стены ехали, а теперь они в посаде оказались! Эк тут все разрослось!

– А что, Богдаш, иными воротами никак нельзя? – спросил Данила.

– А эти, как из Москвы ехать, самые подходящие. Можно бы, конечно… да и там, поди, посада не миновать… ну, все я про них отпою…

Раньше Тайницкие ворота были весьма удобны, чтобы выпускать гонцов, – конь сразу брал разбег. А вот к ним иначе, чем шагом, и не подняться было. Кремль стоял на крутизне. Ворча и сокрушаясь по былым временам, когда не приходилось протискиваться узкими улочками посада, покрикивая на праздный люд, Желвак с Данилой добрались до ворот и, перекрестясь на надвратный образ Николы Угодника, въехали в Казанский кремль.

Прямо от Тайницкой башни начиналась пронизывающая кремль Большая улица.

– Гляди ты! – удивился Данила. – Из конца в конец, что ли, ведет?

– До самых Спасских ворот.

– Ишь, и у них Спасские – как у нас!

Богдаш задрал голову и перекрестился на купола Благовещенского собора, то же сделал и Данила.

– Глянь ты, – продолжал недоумевать он. – И церковь не хуже московской…

– Чего ж ей хуже быть – все построено недавно, в ветхость еще не пришло. А вон по правую руку – пушечный двор. А вон дальше – Троицкая обитель.

Миновав обитель со всем ее подворьем и пристройками, сразу за воеводским домом конюхи повернули налево.

Перед съезжей избой была невеликая площадь, где, осаждая крыльцо, толпился пеший народ, как видно, искавший благосклонности здешних подьячих в важных делах: иной имел при себе лукошко с живыми утками, иной – мужика, сгорбившегося под взваленной на плечо говяжьей четвертью в рогоже. И это также напомнило Даниле Москву.

– Конным не велено! – крикнул с крыльца узкобородый, остроносый, по виду и громогласию – земский пристав.

– Из Москвы с государевой грамотой! – не менее зычно отвечал Богдан. – Поди воеводе скажи!

Толпа притихла. Узкобородый кивнул и исчез за дверью.

– Ты жди, – велел Богдан. – А я грамоту передам и тотчас назад буду. Наше дело малое, с нас тут спрос невелик. С нас спрос уже дома будет…

Он спешился, снял тяжелую епанчу и перебросил ее через седло, передал все поводья Даниле, расправил плечи, одернул на себе армяк, поправил шапку, подкрутил усы и, сочтя, что теперь уж не уронит достоинства государева гонца, независимо и споро стал всходить на высокое крыльцо. Кого-то, чтоб не мешал продвижению, и в бок кулаком двинул, да так, что мужик поперек перил повис. И кулак хорош, и знает Богдашка, куда бить…

Данила же остался ждать, не сходя с Голована и имея в руках поводья еще троих – Богданова Полкана и двух заводных – Буянки и Алибея. Кони сошлись мордой к морде и были до того измучены долгой дорогой, что даже не пытались ссориться, доказывая мелкими пакостями, вроде укусов за шею, кто в этом их сегодняшнем сборище главный.

Исходя из разумного правила «бойся свинью – спереди, коня – сзади, а бабу – со всех сторон», люди высвободили сколько могли места вокруг четырех конских крупов. Данила, похожий в бурой епанче на прошлогоднюю копну сена, поглядывал на толпу сверху, размышляя о своем. Прежде всего – они с Богданом собирались сделать в Казани кое-какие закупки. Во-вторых – не мешало бы и в баню с дороги. В-третьих, воевода мог оказаться добр и дать им побольше времени на отдых, а мог и завтра же утром спровадить обратно, чего Даниле вовсе не хотелось. Но главное – то поручение, что передал Богдану подьячий (Башмаков был на тот час занят). Желвак по своему обыкновению прямо ничего не растолковал, а лишь дразнился.

Узкобородый пристав вновь вышел на крыльцо и велел расходиться – челобитных сегодня более принимать не будут. Народ постоял еще немного, словно желая убедиться, что приказные не морочат простым людям голову. И потянулся понемногу к Спасским воротам, как самым ближним. Последним ушел матерый купчина, имевший при себе мужика с говяжьей четвертью. Ругался он такими неистовыми словами, что Данила, многого нахватавшийся в конюшнях, и то подивился.

Пока он провожал взглядом ругателя, на крыльцо вышел Богдаш, а с ним – парнишка лет четырнадцати, в одной холщовой рубахе и полосатых портках.

– Слезай, Данила! – велел он, спускаясь. – Сейчас коней поставим, расседлаем, приберем. Куда вести-то, малый? На боярское подворье?

– Нет, не туда, – совсем тихо отвечал парнишка. – А через дорогу от подворья. Там у нас большая конюшня в прошлом году срублена.

– Большая, говоришь? Уж не более ли, чем наша Аргамачья? – весело спросил конюх, вызывая отрока на спор, но тот, видать, боялся противоречить государевым гонцам.

Коней Богдан и Данила обрядили сами. Во-первых, знали это дело лучше любого из здешних конюхов, а во-вторых – хорош же тот гонец, который коня чужим рукам доверяет! И еще одно – тут не было принято мыть лошадей, не то что в Аргамачьих конюшнях, и когда Богдан потребовал подогретой воды, едва не дошло до кулаков.

– Мы и печей-то по летнему времени не топим, какая тебе вода?!

– Государевым коням ущерб нанести желаешь, вор, пес, тать?!

– Ну так сгоняй на Казанку да и выкупай!

Речка Казанка была тут же – если проехать Большой улицей, да опять через Тайницкие ворота, да вниз и прямо, так и версты не наберется. Но Богдан уперся на своем и нескольких бадеек тепловатой воды добился.

Вымыть коней было необходимо по нескольким причинам. Первая – в пути этого сделать не получалось, общество конюхам сопутствовало разное, бахматы могли нахвататься вшей. В такой гриве, как у Голована, эту нечисть заметишь лишь тогда, когда грива от их суеты сама шевелиться начнет. На Аргамачьих конюшнях конской вшивости не допускали. Сам у себя в башке хоть на мясо эту дрянь разводи, а государевы кони должны быть чисты, как младенцы. Затем – бывали случаи, что конюхи, возвратившись, обнаруживали у бахматов чесотку и долго лечили страдальцев горячим дегтем. И третье – мокрец, который поражал задние конские ноги именно при странствиях по грязным и сырым дорогам. Недосмотришь – намучаешься с язвами, будешь их и деревянным маслом мазать, и травными настоями обмывать…

– Ну вот, полдела с рук сбыли, теперь иным займемся, – сказал он, убедившись, что кони стоят мирно и жуют овес. – Пошли со двора, прогуляемся, может, и на торг успеем.

Данила впервые проделал столь долгий путь. Когда соскочил с коня – ноги были как не свои. И больше всего хотелось ему, перекусив, прилечь. Но Желвак, высоко держа звание государева гонца, и бани потребовал, и ужина, и всем видом давал понять, что так просто не угомонится. Данила вдохнул, резко выдохнул и расправил плечи. Отставать от старшего товарища он никак не мог. И гордость не позволяла, и выслушивать язвительные речи не хотелось.

Они вышли на Большую улицу неторопливо, малость вразвалочку, как люди, сделавшие трудное дело, несколько дней не сходившие с седла и теперь получившие в награду наслаждение неторопливостью.

– Гостиный двор тут рядом, сразу за воротами, у Ивановского монастыря. Может, еще успеем на торг, а нет – завтра с утра. Отсюда сапог привезти не худо. На Москве таких не тачают. Ты жениться-то думаешь, свет? Вон в каких под венец идти! Глянь-ка!

Он указал на мимоидущего молодца в синей однорядке и действительно выдающихся сапогах. Были они узорными, завитки из цветной кожи, алой, желтой, синей и коричневой, плотно состыковывались, от носка до колена образуя крупный и нарядный узор.

– То-то девки залюбуются! – продолжал Богдан. – То-то перешептываться будут!

И подтолкнул Данилу локотком в бок.

Забыв наставления старшего товарища, Данила шагнул наперерез молодцу в однорядке.

– Бог в помощь!.. – начал было он, желая всего-навсего спросить, где парень купил такое чудо. Но высокий, русоволосый, светлобородый, сероглазый молодец отвечал сердито и невнятно. И даже отшатнулся, всем видом показывая, что с людьми, говорящими по-русски, беседы у него не будет.

– Стой! – Богдан удержал за плечо Данилу, уже собравшегося в два прыжка нагнать мимохожего молодца. – Хотел на татар поглядеть? Ну – вот тебе татарин! Он самый и есть!

– Да ты что, Богдаш? Татаре – черные, узкоглазые! – напомнил Данила, тут же вспомнил Семейку, который был хоть и темен лицом, однако волосы имел русые, и задумался, вызывая в памяти другие знакомые татарские лица.

– А здешние – вот такие. От своих не отличить.

– Гляди ты… – проворчал Данила. – И одет по-нашему. Что – и девки на наш лад одеваются?

– По-всякому. Ты на голову смотри. Если бархатная шапочка, по переду цветы жемчугом выложены, значит – татарка.

Данила немедленно завертел головой в поисках шапочки, но не нашел.

– И не томись! – усмехнулся Богдан. – И этот-то, который от тебя шарахнулся, в кремле – редкий гость, видать, по очень важному делу зашел, а девки и подавно сюда носу не кажут. За сто лет до нас, когда Казань взяли, царь запретил татарам селиться в кремле и посаде. Они по сей день сюда только за делом приходят. Коли тебе так уж девка нужна – у воеводы высмотришь. Они нас с тобой уже приметили! Видал – сразу у них дела какие-то возле конюшни сыскались…

Богдан знал, что говорит.

В последнее время он как-то неожиданно стал заниматься воспитанием Данилы, причем делал это от всей души. Начав с приемов кулачного боя, он и до того додумался, что стал брать парня с собой, когда навещал одну молодую вдову. Вдове было велено позвать красивую подружку, она так и поступила, но вмешалась в это дело и третья женка… И неожиданно для себя Данила стал числиться в разлюбезных молодцах. И даже несколько по такому случаю зазнался. Хотя было все это дело – проще некуда, и, если бы конюхи дали себе труд вдуматься в причуды бабьих склонностей, то немало бы посмеялись.

Вдовевшая третий или даже четвертый год Дарьица Баженова красой писаной не отличалась, а по мнению кумушек, и вовсе была страшна как смертный грех. Однако же сладкого и ей хотелось. Она заметила, что к куме, пока муж в отъезде, чуть не каждую ночь прибегает полюбовник. Но муж скоро вернулся, и кума попросила Дарьицу о содействии – словечко тайное передать да ширинку вышитую. И своими же руками ее с ясным соколом свела…

Понимая, что тощим своим и немолодым телом вряд ли угодит крепкому молодцу, Дарьица стала прикармливать юного и явно неопытного конюха, сулейка с хлебным вином тоже пустой на столе не бывала. Данила сперва не возражал по отсутствию навыка в таких делах, не чуя ловушки, а потом поздно было.

Лучшая подружка Дарьи, тоже вдова, Марьица, проведав о такой Дарьиной удаче, приглядела к Даниле и рассудила, что парень хоть и не писаный красавец, однако и не дурен, опять же – Дарьица-то расцвела майским цветом! Марьица принялась наряжаться и румяниться, чем и навлекла на себя подружкины подозрения. А уж после того, как вдовушки сцепились и, с дикой руганью выплясывая на потеху всем соседям по двору, битый час норовили друг дружку опростоволосить, бабы Конюшенной слободы уразумели: Данила-то молодец завидный! И пошло-поехало – не столь ради его неслыханных и невиданных достоинств, сколь ради того, чтобы друг дружке досадить…

И Данила в простоте своей, и конюхи полагали, что славой парень обязан исключительно самому себе. А ведь не будь той драки-дележки – подпирать бы Даниле заборы, лишь облизываясь на статных молодиц…

В короткий срок изменилась его повадка. Он, понятное дело, не стал красавцем, как Богдаш, но тело научилось всюду располагаться вольготно, уста усвоили особый способ при беседе с бабой или девкой ронять слова чуть свысока. Что-то и впрямь у Желвака позаимствовал, а что-то пришло от уверенности – обычной уверенности поменявшего из баловства пять-шесть полюбовниц молодца. Одно было неистребимо – привычка раскачиваться, как дерево в бурю.

– Вон, вон, – тут Богдан перешел на шепот, – да гляди же, дурень…

И точно – из воеводиных ворот две миловидные девки объявились, с лукошками, будто их за делом послали, и, переговариваясь, пошли по улице, да так, чтобы пройти как можно ближе от столичных жителей.

– Знаю я их затеи… – с тем Богдан вдруг заступил девкам дорогу. – А что, умницы, не поздно ли на торг собрались?

– А с чего ты взял, молодец, будто мы на торг собрались? – бойко отвечала та, что повыше, под стать Богдану – русоволосая, круглолицая, с таким жарким румянцем, с таким хитрым прищуром, что Данила молча залюбовался.

– А мы тут люди приезжие, порядков не знаем, – как бы отвечая на вопрос, объявил Богдан и подбоченился. – А зовусь я Богдаш, прозваньем – Желвак, а товарищ мой – Данила.

– Так вы и есть государевы гонцы? – спросила девка с таким видом, будто знать о том не знала и ведать не ведала.

– Государеву службу правим, – подтвердил Богдан. – Мы, царевы конюхи, молодцы веселые, не жадные, нам сам государь заповедь дал: делу – время, да и потехе – час!

Государь говорил такие слова, когда объяснял свое пристрастие к соколиной охоте, об этом все знали, но Данила не стал портить товарищу складную речь.

– А мы при боярыне состоим, я – ключницы дочка, да Дуня – комнатная девушка.

– Тебя-то как звать, красавица? – понизив голос, проворковал Богдан. Столько неги и еле скрываемой страсти подпустил, что девка беззвучно ахнула и не сразу даже ответила, что Василисой.

Так оно само и вышло, что себе Богдан отхватил самую красивую из девок, Даниле же по безмолвному соглашению досталась другая – темноглазая и малость раскосая Дуня. И коса у нее была не так богата, как у Василисы, и косник – ленточка расшитая, и повязка на голове простенькая, и стать – не та, так что Данила даже несколько обиделся на шустрого товарища.

– А для вас велено баню истопить, – рассказала Василиса, – и после бани ужином накормить, а постелят вам в подклете. Вы, чай, с самой Москвы не парились!

– Да где ж в дороге париться? – удивился Богдаш.

– Леший разве что к себе позовет или медведь в берлоге каменку наладит, – вступил в беседу и Данила. – Дорога-то все лесом да лесом!

– И не боязно вдвоем-то? – Василиса всем видом показала ужас и восхищение.

– Нет, не боязно, – успокоил Желвак. – Мы ведь не безоружны.

Говорить, что от яма до яма умудрялись добираться в обществе иных путников, а однажды невольно возглавили и целый купеческий обоз, было это не доезжая Арзамаса, Богдан не стал, а Данила тоже не напомнил.

– Зато теперь похлещемся веничками вволю – все дорожные грехи смоем! – пообещал он.

– Вы, молодцы, велите только, чтобы свежих веников дали! – вдруг забеспокоилась Дуня. – В свежих вся сила! Вот как молодой лист на березе в полную спелость войдет – тогда и надо ломать.

– А ты почем знаешь? – спросил Данила.

– А бабушка научила.

Таким образом, беседуя кто о чем, Богдан с Василисой – о дорожных хлопотах, а Данила с Дуней – о банных вениках, и сговорились встретиться, как стемнеет.

Понятное дело, ни на какой торг конюхи уже не попали.

– Завтра прогуляемся, – решил Богдаш. – Письмо воеводе – это полдела. Вторая половина – разведать, как крепость соблюдается, готова ли к осаде. А то деньги на пушки выпрашивать воевода горазд, а на что эти деньги идут – одному Богу ведомо.

Данила уставился на него с восторгом. Надо же – сидит в кремле воевода, думает, что он тут главный, и знать не знает, ведать не ведает, что прислал государь двух конюхов, и от их доклада воеводина судьба зависит! Ради одного этого стоило задницу о седло отбить…

– Государь и велел докопаться до правды – на что деньги уходят, – продолжал Богдаш. – А поскольку я в Казани бывал, меня Башмаков и приказал послать.

– Неужто ты и в крепостях разбираешься? – недоверчиво спросил Данила. И впрямь казалось странным, что конюх, которого можно застать с навозными вилами в руках, имеет такие познания.

– Поневоле научишься на государевой службе. Да и глядеть умею. И уже кое-что приметил. Вот тебе – на что только глаза дадены? – спросил ехидный Богдашка. – Вместе ведь ехали, ты во все стороны таращился, и что углядел?

Данила молчал. Признаваться в своих оплошностях он не любил.

– Бог с тобой, растолкую… Как мы до Тайницких ворот добирались?

– Погано добирались, – вспомнив узкие улочки и людишек, лезущих прямо под копыта, буркнул Данила.

– А все потому, что воевода, вроде тебя, глядит, да не видит. Не приметил, что посад чересчур близко к кремлю встал. Кремль – крепость, где при нужде все смогут отсидеться. Мало ли какие дикие народы взбутятся и на Казань двинутся? Стало быть, перед кремлем должно быть пустое место, чтобы никто не мог к стенам незамеченным подкрасться. А тут понастроили! Такое я уж видывал в польскую войну.

– Ты на войну ходил?

– Мы, конюхи, уж два года как за Приказом тайных дел числились, когда я под Ригой побывал. Крепость знатная, так и не взяли. Но под самые стены подступали, к водяному рву, а знаешь почему? У воеводы ума недостало сады и рощи вокруг пожечь, посад с землей сровнять.

– И ты там был?

– Бывал. Мы с тобой тут, в Казани, все обойдем, с людьми потолкуем, тайник проверим. От Тайницкой башни ход к речке ведет, чтобы при нужде крепости без воды не остаться. Убедимся, что цел. Учись, Данила, пока я жив.

Данила только усмехнулся. О том, как государь под Ригу ходил, он знал не хуже Богдана, да только знания пришли из иного источника.

Тот белорусский полон, который пригнали зачем-то в Москву после того, как в самом начале войны удачно был взят Смоленск, а также Орша, Полоцк и иные города, старался селиться в одном месте, люди друг за дружку держались. Так вышло, что Данила, угодив на Аргамачьи конюшни, от своих отстал, да еще затаил обиду – когда они с больным отцом мыкались, не находя пристанища, никто из тех полоняников на помощь не пришел, хотя иные уже начали обустраиваться в чужом городе. Потом, разумеется, обида прошла, и, случайно повстречав знакомца, бывшего оршанина, Данила стал бывать у него, а затем и у других мещан.

Само слово «мещане» было для Москвы сперва диковинным. Полоняники стали называть себя московскими мещанами, потому что город они тоже называли по-своему – «место». А коли переложить на русский, то мещанин – просто-напросто посадский человек. Но Москва перекладывать не стала, и те улицы, где эти люди селились, готова была звать Мещанской слободой. Селились же они на Троицкой дороге за Сретенскими воротами, причем земли им там государь велел в конце концов давать безвозмездно, и чем дальше от Москвы – тем просторнее были мещанские дворы, чтобы владельцы разбивали сады и вскапывали огороды.

Разумеется, мещане следили за ходом польской войны, но следили по-своему, без особого почтения к государю, и новости передавали на ушко. Даниле тоже перепадало – и он не удивлялся потаенному злорадству знакомцев. От них и знал, что поход под Ригу был неудачен, государь по неопытности не учел загогулин европейской политики, понадеялся на датчан, обещавших помочь флотом, но так их под Ригой и не увидел. Город взять не удалось, хотя лазутчики доносили, что магистрат не против бить государю челом и вынести ключи. Летние месяцы, наилучшие для войны, были потрачены напрасно, в октябре пришлось отступать. Сильно огорченный неудачей государь более на войну не ездил, лишь принимал у себя в палатах гонцов. Война длилась уже без него – и нельзя сказать, чтобы успешно…

В бане Богдан с Данилой парились наскоро – чтобы не опоздать к общему столу.

– Ах, утомился, насилу с полка свалился! – сказал, выходя в чистой рубахе, Богдан.

Эта немудреная шутка всегда вызывала хохот и доброе к шутнику отношение.

– Благодарствую на пару, на баньке, на веничке! – сказал и Данила, но не громогласно, а тихонько, и не всем, а старенькой бабушке, которая снабдила их всем необходимым – вениками, вехотками, простынями сурового льняного полотна и шайкой, в которой мок заранее рас-

паренный чистотел, который при нужде заменял мыло, а травой его растирали тело от чесотки, шелудивости и прочих бед, которые подстерегают путника, ночующего в пути незнамо где.

– А ты бы, молодец, поужинав да помолившись, сразу спать шел, – строго отвечала бабушка.

Данила не нашелся, что ответить. Уж, казалось бы, совсем на ладан старая ведьма дышит, так нет же – еще и за девками следить исхитряется!

– Ну и шут с ней, – сказал Богдан, узнав про бабушку. – Девки толковые, найдут, где спрятаться, им не впервой!

И точно – нашли…

Конюхи вышли из подклета поочередно – как бы по нужде. И сгинули во мраке. Богдана ждали справа от ворот, у стены монастырского приказа, а Данилу – напротив ворот, через дорогу, за монастырем Куприяна и Устиньи. Он бы впотьмах мимо проскочил, но Дуня перехватила грудь в грудь, и случайное объятие вышло жарким и костоломным, а поцелуй – долгим-долгим.

– Держи-ка, – девка первым делом всучила ему тулуп, снятый, надо думать, с десятипудового верзилы. – А я рогожку понесу.

– Куда ж мы пойдем? – спросил Данила. – Я тут ничего не знаю, ты веди!

– Можно бы в подклет, да там я не одна сплю, там не вздохни и не охни, – отвечала Дуня. – А коли не побоишься, можно и в ханский дворец.

– Какой еще дворец?

– А был в Казани хан, и когда Казань царь взял, то хана убили, а его женка с башни сбросилась, – объяснила Дуня. – И тот дворец, где они жили, порушили, камень на другое строение по сей день берут. Потому и не заравнивают место, что камень оттуда берут. Так там укрыться можно. Там еще есть такие подполья, что спустишься по лесенке – и как в комнате окажешься. Можно взять с собой рогожу да чем накрыться – и никто нас там не увидит.

– Это ты ладно придумала, – одобрил Данила и снова тесно прижал девку. – Так идем, что ли?

– Да не улицей! – воспротивилась Дуня, когда он по простоте своей устремился было обратно в сторону боярского подворья. – Увидят же!

– А как?

– А задворками!

Дуня повела его по-за Троицким монастырем, за монастырскими огородами, велела смотреть под ноги – с давних времен, когда здесь был ров, осталась ложбина, в которую днем до сей поры никто не падал, а вот ночью – случалось. Ложбину, взявшись за руки, одолели, повернули и вышли прямо к церковке.

– Это храм святой Ирины, – сказала Дуня. – Погоди – самую малость осталось.

– А это что? – Данила мотнул головой, указывая на высоченную уступчатую башню. Она угловатой черной глыбищей обозначилась на ночном небе, а на самой высоте светился огонек.

– А вот отсюда ханская женка и сбросилась.

– Вон прямо оттуда? С самого верху? – уточнил Данила. Строение показалось ему совершенно неподходящим для такой цели.

– Ага, и все косточки переломала… – Дуня, представив такие страсти, перекрестилась и прижалась к своему избраннику. Тулуп, даже свернутый, сильно мешал обниматься, и Данила осторожно высвободился.

– Вот и пришли.

Вроде только что была девка рядом, держала за руку – и как в землю ушла!

– Дуня!.. – позвал ошарашенный таким чудом Данила.

– Тише ты, нехристь… Сюда, сюда… – прошептала снизу Дуня. – Ступеньки высокие, не бойся…

– Сломаю я тут с тобой шею, – недовольно буркнул Данила, и тут же ему пришло в голову, что девка-то не впервые лазит ночью в развалины ханского дворца. С одной стороны, и неприятно было знать, что до тебя ту каморку и ту рогожку опробовало невесть сколько народу, а с другой – должен же человек с дороги разговеться, и не отецкую же дочь для этой надобности улещать… Тем более – не пост, не праздник и не ночь на среду или на пятницу. Хоть в малой мере, а порядок соблюден.

Шаря ногой наугад в темноте, он спустился ступенек на восемь, а то и на десять, после чего Дуня велела хорошенько пригнуться и втянула его уже в полнейший мрак.

– Сыро тут, – заметил Данила.

– Не беда, согреемся! – И девка, имевшая, надо полагать, кошачьи глаза, сразу оказалась у его груди, приласкалась, поцеловала, оттянув ему ворот, в шею.

Затем, увильнув от более страстных ласк, исчезла.

– Готово, – позвала она уже с пола. – Опускайся на коленки, свет Данилушка! Места мало, ну да не поссоримся! Не бойся, я подстелила!

Данила, оказавшись разом и на рогожке, и в Дуниных объятиях, стал жарко целовать девку, она отвечала радостно и с полной готовностью. Меж поцелуями они помогли друг другу освободиться от заведомо лишней одежды…

…– Что там? – спросил Данила, приподнявшись на локте.

– А что, миленький?

– Воет что-то?

– Воет?

– Прислушайся…

Оба замерли. После ласк, которые временно лишают человека и зрения, и слуха, тишина подземелья сперва показалась всеобъемлющей, а потом донеслось что-то сквозь земляную толщу, голос не голос, вой не вой, а неприятно…

– Данилушка! – вскрикнула Дуня, уловив эти звуки. – Ой, Данилушка, бежим отсюда! Ой – кого-то мы потревожили!

Но не бежать она кинулась, а обхватила Данилу так, что и не пошевелиться.

– Пусти, Дунь! Пусти-ка!

Данила зажал смертельно перепуганной девке рот и опять прислушался.

– Дунька, там человек… – растерянно произнес он. – Вопит же – «люди добрые!..». Ей-богу!

– Да Бог с тобой, светик! Нечистый дух тебя смущает! Татарская неприкаянная душа там бродит! – возразила Дуня. – Чур меня, чур, наше место свято!..

Судя по тому, как девка от него отстранилась, она перекрестилась, и не единожды.

– Какого ж ляда татарская душа по-русски орет? – возмутился Данила. – Ну-ка, слушаем еще…

И точно, голос сделался чуть более внятен. Но шел воистину из-под земли.

– Слушай, девка, – вдруг развеселился Данила, – а не завела ли туда баба какого горемыку, вроде как ты меня, да и бросила?

Тут на ум ему пришел Богдаш Желвак – и Данила, при всей своей верности товарищу, искренне порадовался смехотворному Богдашкиному приключению. Не одному же Даниле терпеть насмешки!

– Больно глубоко, – возразила Дуня, – мы вглубь не лезем, страшно…

– А что там, в глубине?

– Откуда ж я знаю!

Из-под земли снова позвали добрых людей, которых там, видать, если и водилось, то немного…

– А что… – сказал сам себе Данила. – Кремль на высоком холме выстроен, поди, подземелий в ханском дворце нарыли немало… Мог же человек нечаянно туда провалиться?

– Сколько у воеводы на подворье живу, никто никуда не проваливался, – возразила Дуня. – Ты вспомни – развалины на особицу стоят, туда только днем за камнем ходят, да дети играют.

– Нет, это не дитя…

И тут Данила, озаренный разумной и одновременно дурацкой мыслью, заорал что было мочи:

– Кто там голосит?!

– Помогите!.. – донеслось. – Я это, Андрейка!..

– Ну вот, неприкаянная татарская душа Андрейкой прозывается, – заметил Данила, потрогал себе горло и кашлянул.

– Ирод ты! – напустилась на него Дуня. – Весь кремль переполошил, люди сбегутся! Срам-то какой!

– А сдается, что как раз и нужно людей поднимать, – негромко возразил Данила, еще не совсем уверенный, что глотка действует. – Там человек в беду попал!

И, собравшись с силами, завопил вдругорядь:

– Где ты, Андрейка?!

Но не из подземелья – откуда-то сверху отозвался звенящий молодой голос:

– Тревога!

И понеслось вдаль, передаваемое из уст в уста сторожевыми стрельцами на стенах:

– Тревога! В ружье! Тревога!

– Ну, всех переполошил! – воскликнула Дуня.

И, не прощаясь, принялась торопливо взбираться по высоким ступеням чуть ли не на четвереньках – лишь бы поскорее убраться, пока стрельцы не застали ее тут со случайным полюбовником.

Данила полез следом и успел вовремя – от Тайницкой башни уже взлетала по склону цепочка факелов – один, два, три, четыре… Стрельцы точно определили направление и бежали на крик не скоро, да дружно.

Дуня, боясь света в лицо больше, чем подземной нечистой силы, метнулась к ограде государева сада, который, равно как и государев дворец, завели в Казанском кремле, видать, на тот случай, что царь в гости пожалует; как-никак, среди его титулов значится и «царь Казанский».

Данила же, которому не приходилось краснеть за свои мужские подвиги, побежал навстречу стрельцам.

– Сюда, ребята! Сюда!

– Ты, что ль, орал? – напустился на него первый из стрельцов, немолодой, в распахнутом кафтане, с факелом в одной руке и бердышом – в другой.

– Я – кто ж еще!

– А ты кто таков?

– Государев конюх я, Данила, грамоту сегодня привез!

Стрельцы окружили государева конюха, очень недовольные тем, что человеку, поднявшему переполох, и по шее не съездишь – службу справляет!

– Сюда, скорее! – Данила махнул рукой и повел возмущенную стрелецкую братию к развалинам. – Там, внизу, в погребах кто-то заплутал! Вопит, что, мол, Андрейкой кличут! Я ему отозвался!

– Какой еще тебе в погребах Андрейка? – удивился первый из стрельцов. – И сам ты за каким лядом сюда ночью залез?

– А за тем за самым! – с ходу помог Даниле кто-то из стрельцов помоложе.

Но не до смеха стало, хоть смех и был готов прорваться, потому что еще кто-то перебил шутников диким вскриком:

– Андрейка?! Ветошник?!

– Тихо! – гаркнул пожилой стрелец. – Кондрашка, Климка, Авдюшка – в башню!

– Гаврила Иваныч, что за шум? – с такими словами быстро подошел человек в стрелецком же длинном кафтане со стоячим воротником, но дорогого тонкого сукна клюквенного цвета, без белой перевязи-берендейки и бердыша, зато с саблей на поясе. Стрелец, его сопровождавший, вознес повыше факел, чтобы осветить всех, к кому будет угодно обратиться сотнику – а что это был здешний сотник, Данила догадался сразу, по длинному посоху в его руке.

– Беда, Михайла Ефремович, – отвечал пожилой стрелец. – Как бы не в тюрьме что дурное случилось!

И махнул рукой в сторону и вниз – туда, где белела Тайницкая башня.

– Она ж под землей, что там случиться может?

– Божьим попущением – всякое…

– Пошли! – приказал сотник и сразу же движением руки удержал стрельцов. – А ты кто таков, молодец? Чего ночью слоняешься?

– Гонец это, – сразу объяснил Гаврила Иванович. – Что грамоту сегодня доставил. Он-то и поднял тревогу.

– Добро, хвалю!

И всей гурьбой кинулись стрельцы вместе с Данилой вниз, туда, где из Тайницкой башни можно было попасть в подземную тюрьму.

– Стой-ка! – удержал кто-то из стрельцов Данилу, когда и сотник, и прочие уже скрылись в башне. – Тебе не велено.

Подумав, что и в Московском Кремле чужого по всем закоулкам водить не станут, Данила смирился. Но на время.

Дождавшись, пока шум и галдеж малость стихнут, он тоже вошел в башню. Ни души не обнаружил – видать, все полезли в подземелье, где содержались здешние воры, тати и лесные налетчики.

Кремль стоял на высоком, куда выше московского, холме, что для устройства подземного узилища было очень даже удобно – ни тебе стены возводить, ни решетки на окна ставить. Опять же, и сидение в беспросветной и сырой земляной тюрьме – более суровое наказание, чем если бы в обычной. Природное любопытство заставило Данилу почесать в затылке – да и полезть по деревянной лестнице вниз, туда, где шумели стрельцы.

Там, внизу, к удивлению своему, Данила обнаружил выложенный камнем пол и каменные же подпоры сводов. В проход выходили деревянные двери с узкими, еле кулак пропихнуть, окошками. Две из них, что подальше от лестницы, были распахнуты настежь. И лежал поперек коридора человек – надо полагать, убитый, раз уж никто не пытался помочь ему подняться на ноги.

Место это освещалось слабо – откуда-то издалека, где суетились с факелами стрельцы. Данила озирался, пытаясь понять, что же тут произошло. Оглядел двери, запиравшиеся снаружи на засов. Поднял глаза к черному потолку. Подошел к мертвецу, как мог осмотрел пол вокруг него и увидел вещь, совершенно в этом подземелье неожиданную.

Совершенно не думая, что это – примета, по которой можно искать убийцу, Данила нагнулся и поднял находку. Был это нож не нож, а вроде игрушки для парнишек, весь, с рукоятью и лезвийцем, длиной в пядень. Однако лезвийце было заострено на совесть, а рукоять усыпана дорогой бирюзой.

Человек, погибший в подземелье, не мог быть хозяином странного ножа. И простая его одежда, армяк да лапти, да в несколько слоев онучи, потому что под землей было вовсе не жарко, и простецкое лицо с нечесаной сивой бородой – все это никак ножу не соответствовало.

Данила сунул находку за пазуху и тут же прижался к стене – свет стал ярче, кто-то из стрельцов торопился к выходу.

Подвинувшись боком, Данила нашарил за собой провал – это была узкая дверь в подземную темницу. Не долго думая, туда он и шмыгнул. Стрелец, торопясь, перешагнул через ноги загородившего проход покойника, осознал недопустимость этого, перекрестился на бегу, пронесся мимо и стал взбираться по лестнице.

Поняв, что вскорости отсюда начнут выбираться и прочие, Данила не то чтобы пожалел о своем неуместном любопытстве – по природной шляхетской гордости он скорее бы на плаху башку уложил, чем признался в собственной ошибке, нет – он ругнул мысленно тех, кто сейчас появится из-за поворота, мешая ему, ни в чем не повинному, покинуть это неприятное место.

– Гляди ж ты, когда это дело обнаружилось! – совсем близко услышал он голос сотника. – Сколько тот ход искали – наконец нашли!

– Нашли, да не мы! – сердито отвечал Гаврила Иванович. – И раньше утра мы все равно ничего не поймем. Пока Андрейку Ветошника в тех норах не сыщем да не вызволим. А то он, поди, под землей с перепугу и до воеводина подворья прокопается…

– Упустили татей!

– Упустили…

– То-то воевода порадуется…

Не нужно было семи пядей во лбу, чтобы понять – кто-то дорылся до подземной тюрьмы и увел несколько узников. А вопивший под землей Андрейка, видать, кинулся в погоню, да и сбился со следа.

Оба – и пожилой стрелец, не иначе – десятский, и сотник, – явственно затосковали.

– Всем достанется… – проворчал Гаврила Иванович. – Сколь трудов положили! И все – псу под хвост! Мало того что этих троих – еще и лишних прихватили. Благодетели!

– Рано стонешь! – вдруг одернул его сотник. – Они могут в посаде затаиться, а могут и прямо сейчас, ночью, в бега удариться. Если сейчас – куда, по-твоему, они побегут? Ночью – вброд через Казанку?

– Берегом? – предположил стрелец. – Раз они столько времени с этим тайником копошились – неужели у них перевоз не налажен?

– Ах, язви их в печенку!..

Гаврила Иванович плюнул.

– Вот тут они и сидели, подлецы! – с тем подцепил носком сапога край двери и пинком затворил ее, понятия не имея, что во мраке затаился государев гонец.

Испугавшись, что вот сейчас и засов задвинут, Данила подал голос.

– Гаврила Иваныч, не спеши запирать!

– Что там за бес? – вскинулся остервеневший от неприятности сотник, и тут же Данила выскочил наружу.

Сотник шарахнулся, а десятский сунул факел чуть ли не в рот Даниле.

– Ах, это ты? Какого беса ты тут позабыл?

– Погоди кричать, Михайла Ефремович, – Данила, как это с ним случалось в опасную минуту, сделался не по чину суров и строг, что при его явной безусой молодости казалось многим удивительно. – Пораскинь умом – кто ж знал, что меня нелегкая в развалины ханского дворца занесет? Кто ж знал, что я прямо ночью тревогу подниму? Этого тати предвидеть не могли!

– Не могли, – уже предчувствуя спасительный выход из положения, радостно подтвердил пожилой стрелец.

– Они рассчитали, что погоню за ними могут послать только утром – когда пожрать узникам принесут и пустое место обнаружат. Они полагали, что у них вся ночь впереди.

– Думаешь, они сейчас в посаде? – недоверчиво спросил сотник.

– Если ход ведет из посада, то там, – уверенно сказал Данила. – Разве что воротников подкупили, чтобы их ночью из посадских ворот выпустили. Так это и прямо сейчас проверить можно.

– К воротам? – сам себе задал разумный вопрос сотник и уставился бешено на десятского. – Гаврила! Какого рожна ждешь?!

Десятник, сразу уловив мысль, сунул начальнику факел и поспешил к лестнице. Сотнику бегать было не по чину. Проводив взглядом Гаврилу Ивановича, он повернулся к Даниле.

– Ты, гляжу, в переделках, парень, побывал.

– Нам, государевым конюхам, не привыкать… – более Данила ничего не добавил.

Покивав – а какого еще ответа ждать от государева конюха, подробной росписи его тайных похождений, что ли? – сотник вернулся к мертвому телу.

– Царствие небесное тебе, Якунка… Послужил – и отдыхай…

Данила меж тем задумался – от чего бы мог погибнуть человек, рядом с которым найдено чистое, не измаранное в крови, подозрительное оружие? Не удавлен – удавленника по лицу видать, не застрелен – хотя, как знать, слышен ли снаружи гром от выстрела. Стало быть, все-таки нож?

Он тоже подошел и опустился на одно колено. Точно – торчала рукоять там, где место сердцу. И была она, костяная, невелика – как у того ножа, что сейчас лежал у него за пазухой.

Михайла Ефремович скорбно глядел на покойника.

– Что скажешь, конюх? – спросил. – Что ты там такое углядел?

– Думаю, коли тут завопить, будет ли слышно снаружи.

Сотник понял, о чем речь.

– Били в грудь, не в спину. Кабы он заметил, что на него человек бросился, то завопил бы. Выходит, метнули в него нож-то из-за угла. Пойдем отсюда, позову еще людей. Андрюшке, когда найдем, образ твой велю выменять – кабы не ты, пропадать ему в этих норах. Они тут с тех времен, когда Казань ханской была…

– А на что хану те норы? От кого прятаться? – спросил Данила. – Коли он тут хозяйничал?

– А война? Осада? Думаешь, за что башню Тайницкой зовут? Тайник от нее к воде шел, – объяснил сотник. – А ведь сперва велено было звать Никольской. У вас на Москве тоже в Кремле, поди, Тайницкая башня есть?

– Имеется, – согласился Данила. – И от нее тайник к реке есть, чтобы в осаду воду брать. Только его давно строили, теперь уж того места не сыскать, где он выходит.

– Ну, и у нас был! У вас – к реке, у нас – к ключу! Ключ глубоко открылся, над ним – колодезь, так тайник от башни к колодезю под землей вел. А как царь Иван Казань брал, при осаде его воеводы додумались этот тайник взорвать, чтобы Казань воды лишить. И взорвали. Потом же он никому сто лет не был нужен. И вон – гляди ты, понадобился ворам, татям!

– Выходит, от башни тайник начинался? А не от ханского дворца? – уточнил Данила.

– Да кто его теперь разберет! Статочное дело, что вел от дворца через башню. Ведь первым делом хана с двором и с женками водой снабжали, – отвечал сотник. – А потом он уж никому не был нужен.

Они выбрались из подвального яруса Тайницкой башни в первый надземный и вышли наружу.

– Ступай, конюх, теперь без тебя справимся, – велел сотник.

Данила вдохнул побольше воздуха, показавшегося после подземелья особо вкусным и свежим. Поднял лицо к ночному небу, увидел огонек на высокой башне…

– А точно ли, что ханская женка оттуда спрыгнула? – спросил Данила, показав на башню.

– Сам ты, конюх, с ума спрыгнул, – отвечал Михайла Ефремович. – Башня уступчатая, что же – она с уступа на уступ, как коза, вниз скакала? Вот разве что ветер был сильный – так ее сразу подхватило и в сторону снесло.

Данила пожал плечами, как бы отвечая – дело давнее и темное.

– Башня уже при нынешнем государе достроена, сторожевая она, – пояснил сотник. – Раньше-то тут неприятеля и с минарета высмотреть могли, а как царь Иван Казань взял, минареты порушили – то и вышло, что свою башню ставить надо.

– Какой же тут неприятель?

– А мордва, а башкиры, а луговая черемиса? Недогляди – встрепенутся. Бунташные народы… Ну, ступай, Господь с тобой.

Данила усмехнулся – прав, выходит, Богдаш. Сотник же быстро пошел прочь, высоко держа факел и помогая себе посохом, а нечаянного помощника оставив в потемках. Пошел туда, где негромко гомонили стрельцы, снаряжая конных к воротам.

Стоило Даниле задуматься – а как же пережил всю эту суматоху Богдаш? – товарищ и объявился.

– Эй, Данила, эй… – раздалось из покрывавших развалины кустов, покрытых молодой, еще полупрозрачной зеленью.

– Вылезай, – сказал, повернувшись на голос, Данила.

– Что там было-то? С кем ты про ханских женок толковал?

– С сотником стрелецким. А было… Тати, что в подземной тюрьме сидели, сбежали. Кто-то к ним через старый забытый тайник пробрался, одного сторожа убили, другой, не знаю как, в подземных норах заблудился. А они, воры, так и ушли.

– Ты-то тут при чем?

– А я с девкой был, и мы голос из-под земли слышали, – Данила, вспомнив Дунин испуг, рассмеялся. – Так это он и был, тот сторож, что по норам лазит! А ты со своей?

– А мы, брат Данила, как услышали – затаились! Знаешь, как мыши под веником! Данила, а ты-то успел? – и Богдаш подтолкнул его локтем в бок.

– А ты?

– Мы – успели!

– И мы – успели!

Им сделалось весело – в подземелье лежал покойник, стрельцы неслись к воротным сторожам – проверять, не ушли ль воры прямо ночью, сотник наверняка спешил к воеводе – докладывать про безобразие, но им было весело, потому что жизнь продолжалась, молодцы успели отведать запретного плода и даже то, что обе девки с перепугу сбежали, их не печалило.

– В которую сторону нам возвращаться-то? – спросил, отсмеявшись, Богдаш. – В подклете нам, поди, толком и не постелили, может, войлок на пол бросили – и ладно. Ишь, как занятно получилось. Есть о чем нашему дьяку доложить – здешний воевода-де на подземные лазы рукой махнул. А там, под посадом, Данила, не только что понакопано – и природные пещеры есть. Коли у кого хватит ума подослать лазутчиков – тому и осаждать город незачем…

Они прошли Большой улицей, на которой и слепой бы не заблудился, прошли открыто – не было нужды прятаться, и добрались до воеводина подворья, и кто-то указал им нужное строение.

Оно освещалось лишь лампадкой, что висела на трех цепочках перед темным образом в углу. Данила, вспомнив, подвел Желвака к свету и показал свою добычу.

– Гляди, что я там подобрал.

– Данила! Да это ж джерид! – спохватившись, Богдаш заговорил тише. – Помнишь, Тимофей толковал – тебе-де джид персидский надобен? У самого нет, а тебе, вишь, надобен. Ну вот – начало положено, один джерид имеется.

Данила честно забыл Тимофеев совет, и Богдаш напомнил.

– Вроде ножен, слева на пояс вешать, и туда три таких ножичка воткнуто, рядышком, а то и четыре, черенки наружу, лезвие спрятано. Выдергивать удобно и метать. Ножички –

джериды, а все вместе – джид. Гляди ты, бирюза… Кто ж там, под башней, бирюзой-то разбрасывается?

– А кто его знает… – Данила задумался. – Вот ведь как ловко – по тайнику до подземной тюрьмы дошли… Может, и наш Кремль так же под землей весь норами изрыт?

– Ты джерид припрячь-то, – посоветовал Богдаш. – Еще два таких же сыщешь, да и ножны к ним – и будешь при оружии! Да и при каком!

Но Данила никак не мог успокоиться.

– Коли и у нас ход от Тайницкой башни начинается, то куда же он вести может? К государевым хоромам?

Вроде не первый год Данила жил в самом Кремле, однако очень редко называл его «нашим», хотя и оршанский свой дом тоже такого титула больше не удостаивал.

– Ходы давно, еще до поляков, понарыли, – отвечал Желвак. – Поди знай, где точно стояли те хоромы. И спать ложись! Сколько верст в седле отмахал, да потом коней обиходил, да девку осчастливил, и все тебе неймется – подземные норы подавай…

Но сам втайне был доволен – воспитанник вел себя именно так, как и следовало молодцу, тем более – государеву конюху.

* * *

Допросов Стенька не любил.

Как человек, изведавший батогов, он осознавал, что виска и кнут ката – еще куда страшнее. После батогов встряхнешься – да и пошел, а кнут твою же спину на ремни нарежет, а после виски не всякая бабка и руки вправит. По должности ему полагалось быть при пытке лишь в тех случаях, когда он сам был свидетелем и ставился на одну доску с возможным преступником. Всякий раз после такого дознания Стенька старался основательно напиться. А вот Деревнину приходилось видеть такое гораздо чаще. Вроде бы и мог привыкнуть, и, сдается, привык, и еще подбадривал ката, когда на дыбе висел ведомый вор или убийца.

Однако, увидев Деревнина, входящего в помещение Земского приказа, Стенька испугался – вид у старого подьячего был такой, словно он похоронил всю родню разом.

Деревнин молча подошел к своему месту, сел, поставив локти на стол, уперся лбом в ладони и сидел так довольно долго. Стенька тихонько подкрался и встал рядом, всем видом показывая готовность служить и проявлять рвение.

Деревнин чуть сдвинул голову, увидел краем глаза своего неуемного подчиненного и громко вздохнул.

– Гаврила Михайлович! – ответил на этот вздох Стенька. – А, Гаврила Михайлович?

Деревнин повернулся к нему.

– Не туда розыск повернули, – сказал хмуро. – Ох, не туда! Девки молодые, от смертного ужаса сами не ведают, что вопят…

– На кого показывают-то? – спросил Стенька.

– Друг на дружку. Одна себя оговорила, другая – родную сестру… Ничего не понять, Степа!

Подошел Емельян Колесников, присел рядом с Деревниным.

– У нас сегодня к столу шти богатые, да плечо баранье, да печень с яйцами, – сказал он товарищу. – Моя уж присылала звать. Пойдем к нам, Гаврила, у нас и вздремнешь.

Послеобеденный сон был на Москве делом почти что богоугодным. Человек, который не удосужится хотя бы ненадолго прилечь, казался подозрителен, ведь и немцы в Кукуй-слободе тоже, пообедав, спать не желают.

Подьячий Колесников звал к себе подьячего Деревнина, чтобы после угощения без лишних глаз и ушей обсудить с ним особенности последнего попавшего к ним в руки дела.

Дело оказалось такого рода, что многие невинные должны были пострадать, прежде чем правда обнаружится.

Двор боярина Троекурова считался на Москве не самым богатым. Это у Морозовых, у Милославских под пять сотен дворни набиралось. Троекуров жил не то чтобы небогато – а по одежке протягивал ножки, и больше полусотни при себе на Москве не держал. Был он мужем благочестивым, строгим, уже в годах, и женат вторым браком на князя Пронского дочке Агафье. От первой жены были у него сын, сам давно женатый, да три дочери. Самую старшую, он давно, года четыре назад, выдал замуж. Две младшие до сих пор не были просватаны, хотя одной исполнилось девятнадцать, другой – семнадцать. Похоронив первую жену, некоторое время боярин пытался жить праведно и безгрешно, однако годы его были таковы, что от одиночества лезли в голову соблазны, и он рассудил по-апостольски: лучше жениться, нежели страстьми распаляться. Молодая жена первым делом родила сына – но, когда, спасаясь от чумного поветрия, вся семья перебиралась в родовую вотчину, годовалое дитя не вынесло тягот переезда. Тогда жена родила еще сына, Илюшеньку, – и над этим пожилой боярин дрожал, надышаться на него не мог.

Хоромы у боярина были таковы, что не всякий из дворни имел доступ в комнаты, а лишь избранные – мамы, нянюшки, сенные девки, постельницы, а мужского пола – ключник и старший приказчик. Когда в терему – молодая жена и две дочки, лишним людям там делать нечего. Но оказалось, что среди самых преданных завелась ехидна. На минувшей седмице в пятничное утро обнаружилось, что трехлетний Илюшенька пропал. Пропал из горницы, где спал под присмотром мамы, нянек, сенных девушек! А за стенкой спала сама боярыня (Троекуров, как многие благочестивые люди, завел две спальни, чтобы в посты и накануне среды с пятницей ночевать с женой раздельно).

Сперва дитя искали по всему дому – мальчик мог, выбравшись из колыбели, пойти на поиски игрушек или лакомств. Потом вышли во двор, в сад. Их обошли быстро – московские владения боярина были невелики, он жил в самом Кремле, как идти от Спасских ворот к Ивановской площади – налево, за двором князя Сицкого. Принялись громко звать, выбежали и на улицу. Никто из соседей дитя не видел. А на ночь кремлевские ворота запирают – выходит, дитя где-то неподалеку припрятали…

Стали разбираться: Илюшенька пропал в одной рубашечке. Коли бы его похитили с тем, чтобы просто спрятать надежно, то хоть прихватили бы порточки, кафтанчик, шапочку, вынесли младенца завернутым в одеяльце. А так – не иначе, плывет бедное тельце вниз по Москве-реке или же легло на дно, обремененное привязанным к шейке кирпичом… Договорившись до такого ужаса, женки и девки в голос завыли, боярыня упала без чувств.

Не ведающий тонкостей розыска боярин велел обыскать короба и сундучки мам, нянек, комнатных женщин, сенных девок. Уж Бог его ведает, что он там чаял сыскать – мешок с золотом за преступную услугу, что ли? Не нашел ничего подозрительного и взревел басом: хитры, сучьи дочери, да я хитрее! Неужто не ясно: цепные кобели ни разу не взлаяли, стало быть, знакомый человек по двору с младенцем на руках прошел!

Потом вдруг вспыхнула в нем надежда – и он вместе с ключником, которого считал самым преданным из слуг, обошел все закоулки своего двора, лазил и на чердак, спускался в погреба, добрался до всех мест, куда может попасть сбежавшее от присмотра малое дитя и сидеть смиренно, онемев от страха. Ни одного закоулка не оставили…

Наконец боярин, поняв, что любимый сынок пропал не на шутку, сделался грозен и неистов. То ли был он кому-то сильно грешен и наконец осознал это, то ли имел иные основания опасаться происков, но снова кричал, что сыночка вынесли спящего и выдали врагам, нехристям! А кто мог вынести? А это дознание боярин препоручил Земскому приказу, равно и поиски младенца.

Холеных и балованных комнатных баб с девками поволокли на дыбу…

Но чем громче вопили они, тем больше вранья записывали за ними писцы. И тем яснее делалось Деревнину, что настоящий вор сидит где-то в тихом местечке да и посмеивается…

Он не был жалостлив, но на сей раз подьячего проняло. И, посовещавшись с Колесниковым (тот помышлял, как бы перебраться в Приказ тайных дел, и уже оказывал некоторые услуги дьяку Башмакову, так что был в этом розыске не соперник Гавриле Михайловичу), он кое-что надумал…

Стенька узнал про это, когда среди дня подошел к зданию Земского приказа узнать, нет ли чего новенького.

– Степа, нас с тобой к Деревнину требуют, – сказал, спеша навстречу, товарищ его – земский ярыжка Мирон Никаноров. – Пошли скорее!

Они протолкались сквозь обычную у крыльца Земского приказа толпу, взбежали по ступеням, вихрем ворвались и встали перед Деревниным, как вкопанные. Стенька – статный, кудрявый, плечистый, с выкаченными от служебного восторга глазами, а Мирон – маленький, дородный, с глазами-щелочками, с носом репкой, с тощей бороденкой. И не скажешь, что ровесники…

– Пойдем-ка, – подьячий встал и прошел в соседнее помещение.

Оба земских ярыжки последовали за ним. Там он указал им на скамью под окном, сам сел напротив на ременчатом табурете.

– Скажи-ка, Мирон, у тебя те лохмотья целы, в которых ты прошлой осенью на богомолье хаживал?

Стенька невольно улыбнулся – Деревнин шутил! Богомолье заключалось в том, что Мирон и Кузьма Глазынин, переодевшись иноками, ходили по дворам, просили милостыню и высматривали, и выслушивали, не чеканят ли где воровские деньги. Тогда многих служащих Земского приказа использовал Приказ тайных дел, в последнее время получивший немало власти.

– В подклете висят, – отвечал удивленный Мирон. – Пригодятся же!

Имелось в виду – те воры, что тогда были изловлены, авось на Москве не последние! Кто-то и теперь по ночам этим ремеслом промышляет, кого-то опять вскоре выслеживать придется…

– Вот что, ты помоги и Степе такие же сыскать. Сегодня вы этим оба займитесь, но так, чтобы ни одна собака не прознала. И завтра с утра оба, принарядившись, ступайте по Китай-городу, по церквам – милостыню просить. Сочини, Мирон, откудова вы взялись, какой обители иноки, вспомни, что в тот раз врал…

Стенька растерялся – иноку, чтобы подавали, нужно было уметь жалостно выводить духовные стихи. Ему же медведь на ухо наступил, он даже спьяну старался глотке воли не давать. Мирон – тот мог, того когда-то обучили.

– Весь день чтобы по Москве околачивались! На ночь же просите пристанища у боярина Троекурова – понял, Мирон? Пусть вас ужином покормят, приютят в подклете, и вы слушайте, о чем мужская дворня толковать станет. Степа!

– Гаврила Михайлович?

– Дело важное, Степа. Гляди в оба. Всякое слово запоминай. Я даже думаю – тебе бы стоило убогим прикинуться. Ни языка, ни слуха, что надо – руками показывай и мычи. Тогда при тебе открыто говорить будут. Выдержишь?

– Я его научу, Гаврила Михайлович, – пообещал Никаноров. – Убогого-то лучше примут. И лучше бы нам сегодня днем с Москвы убраться, переночевать хоть бы у моего кума в Останкине и потом войти утром, как если бы от Троицы прибрели.

– Дело говоришь. Ну, ступайте тогда оба.

И Деревнин опять насупился.

Ярыжки, видя, что подьячий крепко не в духе, пошли потихоньку прочь.

– Убогий, надо же! – проворчал Стенька. – На этой государевой службе и впрямь убогим заделаешься…

Он имел в виду не то, что подумал бы иной ревнитель государева слова и дела, а совсем иное: предстояло объяснение с женой Натальей.

По долгу службы Стенька ее не раз удивлял. Мог уйти в собственноручно ею сшитой холщовой рубахе, а вернуться в чужой, нарядной, расшитой такими швами, которых бедная баба даже и не знала. Мог быть прихвачен соседями в темном углу за беседой с красивой девкой или женкой. Казалось бы, уж тут служба ни при чем! Но Стенька всякий раз более или менее успешно доказывал, что отнимал у важной свидетельницы сказку. Вот теперь поди растолкуй подозрительной бабе, что ночевать собрался не у зазорных девок, проживающих на Неглинке, а у никаноровского кума в Останкине… Как раз лопнет ее терпение, возьмется она за твой же подарок, большую медную сковородку, и наконец выполнит давнее обещание – изувечит…

Мирон Никаноров про эту Стенькину беду знал. И надоумил – домой возвращаться незачем, пусть помучается, пусть постоит на коленках перед образами! Время тревожное, за серебряную копейку посреди Москвы ночью зарежут, вот и пусть осознает к утру, что не мужа ей Господь послал, но сущего ангела!

Миронова жена, имея шестерых сынков и дочек, мало беспокоилась о том, с кем ее мужа видели на торгу. И так знала, что никуда не денется. Тем более что муж ей во всем доверял – и даже, приведя с собой товарища, попросил ее помощи при переодевании. По летнему времени много тряпья обоим ярыжкам не требовалось, но хоть худые ряски – а следовало бы иметь. Одна висела в подклете. Другую Миронова жена принесла от сестры, служившей на богатом дворе, где привечали пускающихся летом в богомольные походы стариков со старухами и имели для тех, кто вконец обносился, запас одежонки. Еще Миронова жена снабдила их двумя мешками и старым полотенцем – чтобы перед тем, как проситься на ночлег, для убедительности замотать как бы поврежденную Стенькину ногу. В мешки для виду напихали соломы – чтобы показать вид, будто прибрели издалека и все свое добро с собой притащили. Еще нашлась сума, которую надевают через плечо – с того случая, когда Мирон отличился.

День они провели прелюбезно – переночевав в Останкине, замешались в толпу богомольцев, вместе с ними неторопливо добрались до Москвы и пошли обходить все сорок сороков церквей, причем Мирон всюду объяснял Стенькину немоту и ту нужду, что привела их обоих в столицу, одинаково и весьма убедительно.

– А он, Алешка, не всегда нем и глух был, – издалека начинал ловкий Мирон. – Но грешник он великий, и за то у него употребление языка отнято. И прибился он, убогий, к нашей обители, и жил у нас привратником, и в церковь молиться не входил, а поклоны бил в притворе, и каялся, и строгий пост держал!

Глядя на Стеньку, трудно было бы подумать, что этот грешник – такой уж страстный постник. Стенька от природы был круглолиц и румян. Но он слушал Мироновы враки, низехонько повесив голову, а на голове имел черненький клобучок, под который упрятал кудри, светлую же бороду вымазал в золе, причем и щекам с носом досталось. А Мирон говорил убедительно, воздев перст и в нужных местах повышая голос.

– И пришел к нам в обитель старец, ростом невелик, хром и седат, и видел раба Алешку, и молился за него, и было старцу откровение! Пойдет-де раб Алешка в Чудов монастырь, и придет туда спозаранку, еще до заутрени, и войдет первым в соборную церковь святого Алексия, и к его гробнице припадет со слезами! И станет там, скорбный, оплакивать свои грехи! И там ему будет-де исцеление!

Слушатели громко ахали.

Стенька глядел в землю и отчаянно завидовал Мирону. Тот мог беседовать с кем угодно, ему же, Стеньке, велено было молчать. И ничего не попишешь – мало ли с кем Господь сведет у ворот боярина Троекурова?

Промолчав целый день, Стенька и впрямь осознал себя убогим. Когда они вошли наконец в Кремль, когда отстояли в Успенском соборе вечернюю службу, Мирон положил ему руку на плечо. Богомольцы расходились – никто не заметил, как один мужик в порыжевшей рясе с мохнатым подолом сказал другому такому же, лишенному речи и слуха:

– Ну, пойдем, что ли, благословясь.

Они дошли до боярского двора, и Мирон, вежливо постучав в калитку, попросился на ночлег.

– Не до вас, честные иноки, – хмуро сказал дворник. – Беда у нас стряслась. Шли бы к кому другому.

– Я-то пойду, товарищ мой обезножел, – Мирон задрал на Стеньке рясу, показывая замотанную ногу. – Мы издалека шли, из самого Ярославля, истомились, сегодня весь день ни присесть, ни поесть, а товарищ мой – убогий… Хоть его приюти! Я-то еще идти могу, а он, того гляди, упадет да и не встанет.

Теперь Миронов голос уже не воспарял повелительно, поражая звучностью, а сделался тускл и проникнут предсмертной обреченностью. Стенька в очередной раз позавидовал товарищу – кабы он сам умел так обращаться с голосом!

– За каким же бесом его, убогого, на Москву из Ярославля поволокло? – недовольно спросил дворник. – Сидел бы себе дома, Богу молился…

– Да что ж ты, нехристь, что ли? – раздался у Стеньки за спиной совершенно незнакомый гневный голос. – Тут почитай что вся Москва знает, для чего инок пришел, а ты его прочь гонишь!

Оба ярыжки разом повернулись к неожиданному заступнику.

Они увидели молодого монаха неописуемой красоты. Темные волнистые волосы были зачесаны назад, бородка с усами ровнешенько подстрижены, глаза же, осененные длинными девичьими ресницами, были, как у насурьмленной красавицы, с поволокой. Стенька знал – такие глаза случаются, когда бабка или прабабка при розыске оказывается пленной турчанкой. Но ему и на ум бы не пришло искать в заступнике басурманских кровей. Более того – тот ликом своим напоминал юного святителя Пантелеймона, как его пишут на образах. Только чуть посуше, построже был тот лик – и оттого еще опаснее для тех девок и женок, что сдуру заглядятся.

Одно лишь несколько портило красоту – черное родимое пятно на левой щеке, впритык к носу и даже с поползновением на него чуть повыше ноздри. И не простое, а словно нашлепка из тонкого, с коротким ворсом бархата.

Инок тоже имел такой вид, словно одолел неблизкий путь, и на спине имел холщовый мешок поболее Стенькиного, через плечо же – серую суму. И нес длинный дорожный посох подходящей толщины – такой разве что о камень обломаешь, а о голову лесного налетчика – вряд ли, скорее сама голова треснет…

– А ты-то чего привязался? Сказано не пускать никого, беда у нас, – тупо и горестно повторил дворник.

– Коли Божьего человека не пустить – еще пуще беда приключится, – возразил красивый инок. – Почем ты знаешь – может ему, убогому, будет сила дана вас всех отмолить, и с хозяином вашим, и со всей дворней?

После чего заступник едва ли не слово в слово передал то Мироново измышление, которым сам Мирон собирался сейчас проложить дорогу на боярский двор.

При этом у Мирона хватило ума взять Стеньку за руку и очень крепко эту руку стиснуть, без слов говоря: вот только покажи, что у тебя есть слух, я тебя доподлинно убогим сделаю!

– Стало быть, коли они в Кремле не переночуют, так он спозаранку первым к гробнице не припадет? – повторил дворник. – Да мало ли народу в Кремле дворы имеет?

– А коли Господь тебя сейчас испытывает? Поможешь ли тому, кого он избрал, благость свою явить или ворота перед ним запрешь? – Тут инок не хуже Мирона возвысил голос. – Гляди, узнает твой боярин про такое непотребство – одними батогами не отделаешься, и кнута еще попробуешь!

Дворнику, здоровенному дяде, было тяжко. Следовало на что-то решиться – и он мучался, понимая, что при оплошности и в том и в другом случае спина целой не останется. Наконец божественное победило.

– Заходите скорее, бегите за угол, вон туда, пока никто не видит… А ты?…

– Да и я с ними, – сказал, оказавшись во дворе, инок. – Мне ведь тоже где-то ночевать надобно!

Стенька, получив от Мирона удар коленкой, вспомнил про свою хромоту и весьма живописно проковылял до подклета.

– Вот и пробились, – весело сказал молодой инок. – Теперь уж он либо войлоки нам даст, расстелить на полу в подклете, либо на конюшню пустит, на сеновал. А спозаранку вместе и уйдем. Я тоже с вами святому Алексию помолюсь.

– С Божьей помощью, – добавил Мирон. – Выручил ты нас, я уж не знал, как быть. А что у них тут стряслось?

– А кто их ведает! У боярина, говорят, дочки молодые. Не иначе, у одной молодца в светлице поймали.

Выразившись столь легкомысленно, инок усмехнулся.

– Ты сам-то не к боярышне ли пробираешься? – с подозрением спросил Мирон.

– Нет, брат, боярышни не про меня, – внезапно помрачнев, ответил инок. – Мне иное теперь на роду написано… Да куда ж он запропал, бляжий сын?

Это относилось к дворнику.

– Поймают нас тут сейчас, – принялся пророчить Мирон, – по шее надают да и выкинут…

– А вон зайдем в сарай – нас и не заметят, – предложил инок.

Так и сделали, причем вовремя – откуда ни возьмись появились два крупных кудлатых мужика из дворни, пошли к воротам, и вступать с ними в драку никому, ни Стеньке с Мироном, ни загадочному иноку, было незачем.

Кабы боярин поселился не в Кремле, а в Белом городе, то и был бы у него двор, как подобает: между воротами и главным крыльцом широкое и открытое пространство, по бокам от хором – службы, за службами – сад и огород. Но для настоящего устройства двора места не хватало, сруб с подклетом, очевидно, предназначенный для приказчиков и старшей челяди, стоял у самого забора, сарай – чуть подальше, за сараем уже виднелись курятник, хлев, конюшня, и перебежать от одного строения к другому было несложно даже убогому обезножевшему Стеньке.

Но обошлось – дворник рассказал о бесприютных иноках ключнику, ключник – еще кому-то, и им отвели угол в подклете, не пожалели войлоков, даже ужином угостили – остатками рыбного пирога и квасом.

Дворня была уныла. Многих притянули к розыску о похищении младенца, прочие боялись за свою шкуру и решительно никто не мог понять, для чего это сделано.

– Это Господь боярину испытание посылает, – попробовал растолковать инок, назвавшийся, кстати, Феодосием. – Как Аврааму – убьешь ли мне в жертву сына единородного или пожалеешь? А что вышло? Занес старец нож над чадом – а ангел Божий и схвати его за руку! Гневен боярин, а зря, людей губит – а ему бы смириться перед Божьей волей…

Складно толковал инок – даже Мирон со Стенькой заслушались. А дворня – так тем более. Обычно странных людей для того и привечали, чтобы про божественное или про необычное послушать. Иной дед божился, что из самого Иерусалима идет, и сиживал в тени

той осины, на которой Иуда повесился, и складно лаял бусурман, и показывал камушек с горы Голгофы.

На сей раз божественное пришлось очень кстати.

– Баб жалко, – сказал сторож Максимка. – И девок жалко. Изуродуют их – кто их таких возьмет? Я одну знал – ее за воровство притянули, так она после двух висок трястись стала. Отлежалась потом, но все равно тряслась, вот и была ей одна дорога – на паперть.

– Но ведь каким иродом нужно быть, чтобы дитяти вред причинить? – спросил Мирон. – Неужто у боярина враги завелись? Ну и пусть бы ему в бороду вцепились – дитя при чем?

С тем он встал, вышел из-за стола и очень тихо спросил Максимку, куда тут ходят по нужде, и Максимка вызвался показать. Молодой инок Феодосий увязался следом. Стенька остался среди дворни один и всем видом изобразил полнейшую бестолковость. Он понятия не имел, как должен вести себя убогий, лишенный речи и слуха, а потому и сидел пень пнем.

– Легко им рассуждать! – сказал поневоле добрый дворник Онисий. – Враги-де у боярина завелись! Нет хуже, чем домашний вор…

– Нишкни, – одернул его старый огородник Михей.

– А более – некому, – прошептал молоденький его помощник Фомка, такой беловолосый и белокожий, что в темном подклете казался совершенно невозможным видением.

– А ты ему-то скажи…

– И до дыбы не дойдешь – тут же он тебя посохом…

– Да ведь только тот и мог…

– Не он сам, а змея…

– Да неужто та дура-девка не догадалась бы сама вместе с младенцем убежать? Какого ж рожна она ждала?!

– Нишкни!..

Так переговаривалась вполголоса боярская дворня, а Стенька мучился от невозможности задать хоть один вопросец.

Было ясно одно – подозревали в преступлении мужчину, связанного с некой змеей. Вскоре ясно сделалось и другое – как именно вынесли дитя и с рук на руки передали похитителю.

– Одна согрешила – другие терпят! Эх, Господи…

– Тут две женки орудовали – комнатная и дворовая. Портомоя ли, мовница ли, или хоть твоя баба, дядя Михей, – огородница…

– Ты чего на мою бабу поклеп возводишь, пес!

– А с чего – две?

– А одна дитя вынесла из терема, другая его передала…

– Кому?

– А почем я знаю! Тому, кто ждал… Комнатные-то девки в погреб не ходят, они с крыльца кричат – принести-де боярыне того да сего! А та, что ходит да знает…

– Не ври, ни при чем тут погреб.

Стенька насторожился.

Он не знал поименно тех, кто тихонько обсуждал впотьмах пропажу боярского сыночка, и мог разве что по голосу опознать назавтра человека, обмолвившегося про погреб.

– А нора?

– А нору заложили.

– Чем заложили?

– Бочку сверху поставили, ее вдвоем не своротить!

– Капустную бочку, что ли? Так там и капусты уж, поди, не осталось, коли женка крепкая, то и своротит… И вынесли через лаз!.. Он-то, тот, про нору, поди, с самого начала знал…

– Нишкни…

Все это Стенька слушал да мотал на ус. Но недолго он лакомился слухами и домыслами – потому что не могли же Мирон с Феодосием до полуночи нужду справлять. Вернулись мнимые иноки – и тут же разговор об ином зашел. А потом, помолившись, все легли. И Стенька тоже.

Онисий с Максимкой предупредили гостей, чтобы ночью по двору не шастали. Хотя после драки кулаками не машут, боярин удвоил строгость охраны. А отнимать добычу у кобеля ростом с телка – радость сомнительная. Мирон хлопнул себя по лбу – ахти мне, а мой убогий? И, показав Стеньке знаками, что требуется, повел его скоренько в известное место за конюшней, куда по летнему времени бегала мужская часть дворни.

– Полагают, будто какой-то мужик через бабу кого-то из здешних женок подкупил, чтобы дитя вынесли, и тут же то дитя задавил, – шепотом сообщил Стенька. – А вынес-де через нору – лаз у них там какой-то в погребе есть, капустной бочкой заставлен.

– На что лаз, коли усадьба невелика? – удивился Мирон. – Два шага – и вот тебе забор, и переправляй хоть младенца, хоть старца!

– И все они, сволочи, знают, кто тот мужик, но молчат – потому что боярину это объяснять опасно, боком выйдет, – продолжал Стенька.

– Старший сын, что ли? – догадался Мирон.

– Больше некому. Вот тебе скажи, что твой старший твоего же младшего порешил…

– Типун те на язык!

– Но почему же тогда его бабы под пыткой не выдают?

– Только одна, видать, правду знает…

– Что ж они подметное письмо не изготовят, боярину не подбросят?

О причине, которая заставила бы старшего троекуровского сына избавиться от младшего братца, оба молчали: причина известная! Боярин до того младенца возлюбил, что в завещании, того гляди, все ему отпишет.

– Как бы ту подлую девку вызнать? – спросил Стенька. – Кабы ты меня убогим не выставил – я бы, глядишь, с кем из женок знакомство свел. Мовниц-то не трогали, приказчикову жену не трогали, а только тех, кто в горницах и сенях на лавках спали.

– Кабы не твое убожество – ты бы всего не услышал, – напомнил Мирон, и они тихонько пошли обратно в подклет. Сделано это было очень вовремя – Максимка как раз отвязал четверых кобелей, черных и лохматых.

В подклет набилось немало народу, войлоки для гостей кинули у самой двери, но Стенька с Мироном были не в обиде. Красивый инок Феодосий был тут же со своим мешком и сумой.

– А и ладно, – шепнул он, – утром встанем раненько, помолимся, да и поведем убогого в Чудов монастырь. Дайте-ка я с краю лягу, я вас обоих помоложе.

– Нехорошо, честный отче, – шепнул и Мирон. – Ты лицо духовное, ты в середку ложись, а я с краю.

– Делай, как велено, – с внезапной строгостью приказал инок.

Мирон был неглуп – повадка инока сразу показалась ему диковинной. Сладкоречие сладкоречием, а сильно смахивал Феодосий на кречета, что сидит на рукавице под колпачком, ожидая, пока спустят на шилохвостку или иную пернатую дичь. И слышит он голоса, и понимает, что близок миг желанного полета, но медлит хозяин, и тяжко птице от сознания своего плена…

Кабы Стенька не был сейчас лишен употребления языка – посовещался бы с ним Мирон: нет ли, кроме подьячего Деревнина, на Москве человека, который хотел бы разобраться в деле о похищении младенца? Но посовещаться никак не выходило, и Мирон, решив во всем положиться на милость Божью, уступил Феодосию место у двери, помолился про себя ангелу-хранителю и вскоре заснул. Коли с утра из Останкина прийти пешком, да весь день по Москве мотаться дотемна, так и голову приклонить не успеешь – глаза сами закроются.

С каждым днем светало все раньше. И надо же – вечером вроде еще довольно светло, а в подклете, где высоко прорубленные узкие окошечки, хоть на ощупь бреди, а утром только заря занялась – а лучи по тому подклету так и ползут, и все по глазам норовят!..

Стенька ощутил это прикосновение луча к векам, сперва никак не желал просыпаться, потом вспомнил, где он, – и проснулся. Первым делом толкнул в бок Мирона. Тот от неожиданности сел.

Дворня боярина Троекурова как завалилась с вечера спать, так, видно, и не вставала. А вот инока Феодосия с его мешком на месте не оказалось.

Мирон сделал рукой знак – пошли, мол, за конюшню. Стенька помотал головой – коли все спят, надо полагать, и сторожевые кобели еще не пойманы и не привязаны. Как показать Мирону свирепого кобеля – он не знал. Словом сказать – так, не дай Бог, кто-то из дворни проснется и услышит…

Стенька, стоя на коленях, удержал Мирона за край рясы. Мирон ткнул пальцем на место, где уже не было Феодосия, и Стенька понял – коли не гремит лай, не орет покусанный инок, стало быть, кобели привязаны. Он встал и вслед за Мироном вышел из подклета.

Стоило им сделать два шага к конюшне – раздался-таки песий лай, но где-то в саду. Сперва один кобель звал хозяев, потом к нему другой присоединился. Но человеческих воплей не было, и Стенька с Мироном озадаченно переглянулись.

Наконец и голос до них долетел – сторожа бежали разбираться, что обеспокоило псов. А в подклете заговорили разбуженные Фомка, Онисий и еще какие-то мужики, но не конюхи – те при лошадях спали.

– Эй! Сюда! – этот отчаянный крик пролетел над всей усадьбой. Псы на миг притихли.

Из подклета выскочил Фомка.

– Кто там глотку дерет? – спросил Мирон.

– Дядька Максим!.. – Парнишка покрутил головой, ища, откуда был крик, и тут он повторился. Его подкрепил лай.

– Что ж он в саду-то делает? – спросил удивленный Фомка. – Чего он там позабыл?

И побежал на голос.

Стенька схватил Мирона за руку и затащил за угол. Он это сделал вовремя – дворня, ругаясь спросонок, посыпала из подклета, лба не перекрестив. И вроде бы там никого не осталось…

– Что у них стряслось? – спросил Стенька, отменив свое убожество. – Кого там псы поймали?

– Пойдем-ка да поглядим, – предложил Мирон.

Боярские хоромы были невелики – то ли на шести, то ли на семи срубах высились терема, одно крытое крыльцо было главным – широкое, с пологой лестницей, за углом было другое, сзади наверняка имелось и третье – крылечко для боярышень с подружками, откуда спускаться в крошечный сад. Вот туда и понесся весь народ.

Стенька с Мироном были осторожны, шли тихо, выглянули из-за угла с бережением. Увидели саженей за пять от девичьего крыльца одни лишь отставленные зады – мужики все как один над чем-то нагнулись и невнятно галдели. Вдруг раздалось отчаянное:

– Да за боярином же бегите!..

Рванулись сразу двое, понеслись в обход, а тут и на крылечке появились разбуженные переполохом бабы в распашницах, кое-как накинутых поверх рубах. В одной подпоясанной рубахе – только по горнице без посторонних ходить, потому что стыдная это одежда, тело чересчур облегает, все напоказ. А на люди – хоть в какой распашнице, накинутой поверх рубахи. Это даже спросонья свято соблюдали.

– Илюшеньку? – неуверенно повторил Стенька имя, что с трудом удалось разобрать в общем гомоне.

– Неужто сыскался? – с преждевременной радостью спросил Мирон.

И через миг все стало ясно – завопили на крыльце бабы, а мужики выпрямились и из толпы появился один – сторож Максимка. Он держал на руках младенца – и нес его так, как несут неживого.

Младенец и точно был простоволос, в одной рубашечке, запрокинутая его головка в светлых кудряшках и босые ножки казались особенно жалкими.

Навстречу сторожу выбежал мужчина, при взгляде на которого Стенька ахнул и перекрестился. Ему показалось, что на боярский двор нечистая сила принесла конюха Аргамачьих конюшен Богдана Желвака, воспоминания о котором были такого рода, что Стенька затолкал их в самые дальние закоулки памяти.

Но ярыжка миг спустя понял, что ошибся. Сходство имелось, да не такое, чтобы в ужасе креститься. Богдаш был высок, поджар, с резкими чертами лица, а этот, с виду Желваков ровесник, – чуть пониже, станом поплотнее, личиком пошире, нос – картошкой, разве что удивительной желтизны волосы и борода соответствовали. Но и он был хорош собой, и на него в иное время девки, поди, оборачивались, а рядом встав – норовили на ногу, балуясь, наступить.

Сейчас этот человек был нечесан, как выскочил из постели, так и прибежал босиком.

– Максимка!.. Господи, нашлось дитя! – воскликнул он.

В волнении протянул он руки к сторожу, но тот помотал головой.

– Не тронь, Василий Ильич, – сказал Максимка. – Тут уж не поможешь… опалился гневом на нас Господь…

Стенька понял, что этот Василий Ильич – лицо, приближенное к боярину – может, старший ключник, может, приказчик.

– Удавили!.. Тогда ж и удавили, когда выкрали!.. Уж тленом от него тянет, от бедненького!.. – гомонили мужики.

Пренебрегая правилами, Максимка взошел на девичье крыльцо и встал там, ожидая, пока разбудят и приведут боярыню с боярином. Наконец старый боярин вышел, встал наверху, за ним появилась боярыня, закрывавшая лицо полосатой шелковой фатой. Мужская дворня сгрудилась внизу и притихла.

– Вот те, бабушка, и Юрьев день… – прошептал Стенька и посильнее вытянул шею. Он хотел понять, где отыскали бедное дитя.

Боярин о дочках заботился – было у них все, что положено по званию, и наряды, и утехи. В саду для боярышень разбили цветник, приладили к дереву висячие качели, поставили лавочки. А что меж деревьев вскопаны грядки под морковь, репу и огурцы, так это во всех московских садах заведено – не пропадать же земле зря. И в самом Кремле у многих вдоль забора капуста и свекла растут – все ж свое, не купленное! Но орава мужиков цветник и даже грядки потоптала, и Стенька приблизительно определил, где была страшная находка.

– Вот диво, откуда ж он там взялся? – не дожидаясь Стенькиного вопроса, спросил Мирон.

– Через забор, что ли, перебросили?

– С князя Сицкого двора?!

– А там Сицкого двор, что ли?

Тут раздался истошный крик – так только мать может завопить, увидев мертвого сыночка, да и рухнуть наземь. И снова загомонила боярская дворня. И зычный голос боярина призвал было всех к повиновению, да сорвался…

– Мирошка! А Феодосий где?

– Феодосий?…

И точно – пропал молодой инок вместе с мешком, сгинул, исчез. Ни один из четырех кобелей ему вслед не взбрехнул. Что за притча?

Мирон и Стенька переглянулись – обоих озадачила одна мысль: уж не младенец ли был в том мешке?

Очевидно, мысль была настолько сильна, что расправила крылья и полетела к крыльцу, к огороднику Михею, к сторожу Максимке, к доброму дворнику Онисию.

– Богомольцы-то! – воскликнул Михей. – Куда богомольцы подевались?!

Михей мог вспомнить про них безнаказанно – не он пустил на двор троих чернорясцев, из которых один лишен слуха и речи.

– Какие тебе богомольцы, дурак? – крикнул сверху боярин, не велевший в эти скорбные дни пускать посторонних.

– Он, точно – он! – в восторге от своего открытия шептал Стенька. – Он на нашем хвосте сюда въехал! Ему как раз сюда попасть было надобно! Он младенца в мешке пронес да и выкинул под кусты!..

– Богомольцев троих Ониська пустил ночевать! – верноподданнически заорал дед Михей. – Вот хоть Фомка подтвердит!

– Были богомольцы! – закричал и парнишка. – Вот те крест, боярин-батюшка, – были! Все трое!

– Сюда их, ко мне, живо!

– Бить будут… – догадался Мирон. – Где ворота-то, Степа?…

Но как раз к воротам бежать было опасно – следующим повелением боярин именно туда направил дворню, чтобы не упустить подлецов.

Отродясь оба ярыжки в такую передрягу не попадали.

Конечно, они могли признаться, что служат в Земском приказе и занимаются розыском, да только сперва ведь побьют, а потом уж выслушивать станут… коли на тот свет сгоряча не отправят…

– Погреб, Мироша… – догадался Стенька. – Нора…

Где погреб – они сообразили сразу. Не всякое особо стоящее строение наполовину в землю врастает, замшелым камнем обложено и дверцу имеет низкую, к которой по трем высоким ступенькам спускаться надобно. Не у всякого строения выветривается на шестах, чтобы не попортилась, сухая соленая, вяленая и копченая рыба…

Прихватив свои посохи (что за странник без высокого, выше себя, посоха, которым при нужде и от собак, и от лихих людей можно отбиться?) и не оставив на растерзание боярской дворне набитые соломой мешки (увидев такое содержимое, всякий поймет – приютили злоумышленников!), Мирон и Стенька кинулись к той заветной дверце, распахнули ее, проскочили вовнутрь и сделали это очень вовремя – раздался звонкий собачий лай, раздался вопль «Имай их!», топот босых ног тоже, понятное дело, раздался…

Они оказались в полнейшей темноте. И хуже того – обдало их холодом.

Боярин, человек древней закваски, вел домашнее хозяйство по заветам старца Сильвестра, написавшего в поучение своему сыну книгу «Домострой». Боярин не входил во все тонкости и полушек собственными перстами не считал, но всякий припас велел закупать в тот срок, когда он всего дешевле. Для того его погреб содержался наилучшим образом – с весны запасался на Москве-реке чистый лед, набивался в нарочно устроенные глубокие ямищи и держался там, истаивая понемногу, до самого Нового года. А как новогодье отпразднуют – сколько до той зимы с ее холодом остается? Сентябрь да октябрь, а в ноябре уже опять снег и мороз.

Надо полагать, именно под лед углубляли погреб дворовые мужики, когда напоролись на загадочный лаз.

– Ищи капустную бочку, Мироша…

– Сам ищи…

Они шарили впотьмах руками, натыкались на вещи, способные привести в трепет: на битую птицу в пере, висевшую гроздьями, на мерзлые половины свиных и коровьих туш, на высокие бочки, на углы какие-то непонятные…

Стенька вовремя услышал голоса за дверью и присел на корточки. Хорошо, успел дернуть за рукав Мирона.

Свет проник в погреб, но не в большом количестве, потому что узкий и невысокий дверной проем заслонили плечищами два мужика.

Они таращились в жутковатый полумрак, откуда веяло холодом, и ничего, кроме смутных очертаний туш и бочек, там не видели.

– Ну, не дураки ж они – в погребе прятаться! – сказал один, чей голос Стеньке вроде был знаком.

– А коли тут?

– А коли тут?… – Мужик оказался не по чину смышлен. – А припрем-ка мы дверь снаружи! Коли нигде больше не сыщутся – стало быть, и тут…

С тем дверь и захлопнулась.

– А все ты, блядин сын, сволочь!.. – зашипел на Стеньку Мирон. – Нора, нора… Мы бы, может, и на конюшне отсиделись!.. И на поварню проскочили!.. Все-то сейчас в сад сбежались!..

Оба они, и Стенька, и Мирон, могли бы сейчас служить живой картинкой к древней мудрости «Русский человек задним умом крепок», кабы в погреб заглянул один из тех мастеров, что разрисовывают потешные книжки для царевен и царевичей, наполненные именно такими краткими рассуждениями.

Стенька на ругань не ответил. Они оба действительно попались. И если бы кто его спросил, как он представлял себе поиски лаза под капустной бочкой в кромешном мраке, он бы объяснить не смог.

– Ну, побьют нас! – с непонятным злорадством продолжал перепуганный Мирон. – Радуйся, коли кутние зубы уцелеют! А с передними прощайся!..

И тут Стенька промолчал.

– Что бы мне подьячему пирогом поклониться? Знал же – кто с тобой, с дураком, свяжется, тот непременно в беду влипнет! Весь приказ знает!.. Как же я оплошал-то? Пирогом бы поклонился – он бы со мной кого другого послал!..

– Не причитай, Мироша, – наконец вымолвил Стенька. – Мы мешки-то куда побросали?

– На что тебе мешки?

– Солому зажечь.

– Чем тебе солому зажечь? У тебя что, огниво припасено?

– У меня – нет, а у тебя припасено, – уверенно сообщил Стенька.

– Господи Иисусе! – Стенька не видел, как Мирон в темноте крестится, но это было единственное, чем следовало сопровождать такие слова. – Не брал я огнива!

– Ты в суму загляни, – посоветовал Стенька.

Суму Мирон с себя не снимал, с ней и спать лег, пусть дворня думает – там у богомольцев ценное имущество. И точно – в ней топорщилось что-то, оставшееся с тех дней, когда он выслеживал изготовителей воровских денег. Мирон полез туда, пошарил, отыскал засохший ломоть хлеба, отыскал деревянную обгрызенную ложку, которую с трудом опознал на ощупь, накололся на костяной гребень, в котором половины зубцов не хватало, и наконец добыл завернутые в тряпицу кремень и кресало.

– А ты почем знал?… – изумившись, спросил он.

– Да не знал я… Просто – вся надежда на это была, – признался Стенька.

Опустившись на корточки, он пошарил вокруг, добыл мешок, скрутил соломенный жгут, а Мирон уронил на него выбитые искры раз и другой, причем ветхая тряпица послужила вместо трута.

– Бочек-то! – воскликнул Стенька. И торопливо пошел в них заглядывать. Мирон светил ему, для чего-то поднимая руку повыше и даже привставая на цыпочки.

– Поди ж ты… – удивлялся ярыжка. – Кто ж знал, что у меня в суме весь богомольный припас сохраняется?…

– Сам ты и знал, – Стенька едва ль не нырнул в бочку, убедился в ее пустоте и прошептал озадаченно: – Эта, что ли?

Ощущавший некоторую вину Мирон качнул бочку за край и слегка переместил. Стенька пошарил у ее основания.

– Крути еще жгут, – велел Мирон, – не то руку сожгу.

Бочка оказалась та самая, вот только лаз был доподлинной норой – вел не вниз, а вбок. Выглядел он таким узким, что непонятно, как Стенькиным плечам да Миронову брюху туда протиснуться.

– Вот незадача… – пробормотал Стенька. – Залезть-то залезем – а как бочку за собой задвинем?

– Веревка нужна, – сообразил Мирон. – Обхватим ее веревкой да за собой и потянем! Потом один конец отпустим, веревку втянем…

– Умный! Где тут тебе веревка?!

– А мешок?

Надрезав засапожником, они быстро распустили один из мешков на полосы, связали их – и Стенька, заткнув полы подрясника за пояс, первым пополз непонятно куда. Ползти оказалось не страшно – вот только локтям места было мало. Да и недолго – сажени две промучался Стенька, когда вытянутая вперед рука не нашла опоры. Он ощупал верх и стенки норы и понял, что попал в какое-то помещение. Подавшись сколько можно вперед, он свесился из лаза и возблагодарил Бога, обнаружив внизу пол. Ступая по этому довольно жесткому полу руками, Стенька выволок из норы брюхо с ногами и позвал Мирона.

Тому пробираться было и труднее – дородство мешало, и легче – Стенька подбадривал и напоследок тянул его, как сказочную репку из грядки. Потом он уже довольно уверенно вернулся в лаз, при помощи холщовых полос подтянул к нему бочку и вернулся очень вовремя – Мирон как раз снова разжег огонь.

Оба ярыжки оказались в странном месте. Это был давным-давно заброшенный подвал. Всякой рухляди там стояло немерено, а вверху был округло выведенный свод.

– Ишь ты… – произнес Мирон. – И правду сказывали, будто Кремль весь норами изрыт. В таких погребах еще до поляков порох хранили…

– Тут не порох хранили, – вглядевшись в рухлядь, заметил Стенька. – Когда при поляках в Кремле боярские дворы погорели, на пожарищах новые ставить стали, а от старых погреба не засыпали. Я про такие слыхивал. Стрельцов-дозорщиков государь посылал глядеть, есть ли какие тайники под стенами, и столько всяких дыр они сыскали! Даже таких, что пройти нельзя. И для кого их делали – не понять…

– А я тебе скажу, Степа, для кого их делали. Мне умный человек как-то рассказал: коли из крепости тайник выводят, так непременно рядом с ним другой копают, и копают по-хитрому, он сперва широк, потом сужается. И задумано это для воров. Вор или переметчик захочет тайником пройти – а сам в другой ход попадает и сперва идет, потом ползет, а потом и рад бы назад, ан нет! Там и погибает!

– А правильный тайник рядом проходит? – уточнил Стенька.

– То-то и оно, Степа. Его только те знают, кому надо. Стало быть, мы под чей-то дом выбрались. Может, самого боярина Троекурова дом?

– Поди знай! Далеко от погреба мы не уползли. А боярский дом не так давно срублен. Может, там, где до него сгоревший был, а может, и нет.

– Да нет, срублен-то давно, а перестраивали его, поди, как боярин жениться вздумал. Новый сруб ставили, да горницу, да светлицу, да сени меж ними, да повалушу, да гульбище, где боярышням сидеть, – перечислил Мирон то, что увидел на боярском дворе, и Стенька позавидовал такой наблюдательности: то, что подметил Мирон, могло пригодиться при розыске, а ему и в ум не вошло приглядеться к хоромам.

– На Сицкого двор мы вроде заползти никак не могли… – Стенька стал припоминать, далеко ли стоял погреб от хором и в которую сторону он под землей простирался.

Мирон тем временем нашел себе занятие – отыскав ветхий лубяной короб, выкинул истлевшее содержимое, стал разбирать его на полосы луба, а полосы накручивать на какую-то палку, чтобы получился факел.

– Ты мне лучше, Степа, другое скажи – куда тот блядин сын Феодосий подевался! – вдруг воскликнул Мирон. – Ведь как сквозь землю провалился!

– Встал с петухами, подбросил мертвое дитя и дал деру, – предположил Стенька. – Погоди, Мироша, ведь чей бы то погреб ни был – не через нору же в него попадали! Дверь и лестница должны быть!..

– Ан нет, Степа. Спозаранку кобели по двору шастали. Он бы до ворот добежать не успел. А тын у боярина высокий. Бережет дочек!

– Да ну тебя и с Феодосием твоим вместе… – Стенька был озабочен, как выбраться из погреба, и о мертвом младенце думать не желал. – Дай-ка я вдоль стен проберусь. Грязи-то! Тут с польского времени, поди, все это дерьмо валяется… Гляди, Мироша!

Он поднял с почерневшего от времени и сырости сундука немалых размеров пищаль.

– Ну, пищаль… Эка невидаль… Ты слушай, что я тебе толкую. Тот Феодосий младенца в мешке принес, спозаранку его подбросил, а сам куда девался? Помнишь, вопила дворня – троих-де богомольцев имать надобно? Стало быть, он со двора не через ворота и не через тын убрался… Стало быть…

– Он и посейчас где-то тут? – догадался Стенька.

– Вот то-то!

– Куда ж он шмыгнул?

– Куда? – Мирон разжег наконец свой факел, отчего в подвале вмиг сделалось веселее. – Ну, давай рассуждать. Он от подклета до сада добежал и младенца из мешка выкинул.

– Далековато бежать пришлось, – заметил Стенька. – Диво, что его псы не потрепали. Неужто не мог бедное дитя в ином месте положить?

– Для чего-то ему нужно было под боярскими окнами младенца кинуть…

– Выходит, прав Деревнин – мстят боярину, и мстят жестоко? А дворня на боярского сына думает… Слыханное ли дело, чтобы сын с отцом так посчитался?

– Неслыханное, свет…

Ярыжки примолкли.

– Сколько дней, как дитя пропало? – вдруг спросил Стенька.

– Дня четыре, поди. А что тебе с того?

Стенька пожал плечами и пошел дальше вдоль стены, отодвигая короба, отпихивая ногами мешки – из одного в дырку посыпалось черное зерно…

Он не знал, зачем ему в его рассуждениях нужны эти четыре дня. Они были необъяснимы – коли неизвестный мститель решил проявить такую жестокость, зачем не сразу сделал свое злодеяние явным? Зачем подвел под пытки комнатных женщин? Ведь одна из них помогла ему, это несомненно! И ее же подвел под пытки? Не опасаясь, что выдаст?

Для чего?…

Возможно, злодей хотел огорошить боярина в заранее намеченный день – в память о неком им обоим известном событии? Выкрал дитя, когда получилось, а подбросил – в нужный день?

Дело становилось все более смутным.

– И ведь мы рядом с тем мертвым телом всю ночь проспали! Спаси и сохрани! – Мирон, перекрестившись, пошел с факелом следом за Стенькой. – Как выберемся – живо в приказ! Надобно того Феодосия сыскать! Хорошо, примета у него знатная – с таким пятном на роже он от нас никуда не денется. А как начнут пытать – с первой же виски во всем признается, сучий сын, выблядок!

Стенька подумал, что рассуждать можно хоть до морковкина заговенья, а поиск и поимка инока – то настоящее, чем придется заниматься и что сулит удачу.

– Да вот же она! – воскликнул Мирон.

Дверной проем вмиг был освещен факелом. Но высокие ступени вели не вверх, как бы следовало, а вовсе вниз.

– Что за притча? – удивился Стенька.

– Добрый боярин тут жил, погреба двухъярусные имел, – объяснил Мирон. – Должно быть, еще до поляков строены. Пойдем, Степа, куда-нибудь да выберемся!

Он повеселел.

– А как полагаешь – куда?

– А и к Москве-реке можем выйти, коли повезет, – Мирон даже разулыбался. – Коли хоромы старые, то, может, еще с тех времен, когда от татар нападения ждали и о том, где при осаде воду брать, беспокоились. Слыхал, под иными башнями засыпанные колодцы находили? А коли под Кремлем и есть тайники, так непременно к воде ведут.

– Либо в самое Замоскворечье, – добавил Стенька. – Может, еще на тот ход набредем, которым боярин Морозов из Кремля уходил…

– Нишкни! – прикрикнул на него Мирон и вдруг, поняв всю глупость своего страха, рассмеялся. Кто бы их, двух переносчиков сомнительного известия, тут услышал?

А о том, что боярин более десяти лет назад во время бунта из Кремля загадочно сгинул, а в Замоскворечье вдруг объявился, многие знали. Пришел за боярином в Кремль возмущенный московский народ, требовал от государя, чтобы выдал на расправу своего чересчур хитромудрого воспитателя, чей совет поднять налог на соль всем вышел боком. А боярин возьми да и пропади. Потом так же внезапно в Кремле объявился. Вот и разумей как знаешь…

Прихватив побольше луба для факела, они спустились в нижний ярус погреба и поняли, что от него толку мало. Выложен белым камнем, свод круглый, а посередке – дыра в полу, куда ведет – неведомо…

– Нет, Мироша, это не то что до поляков – это, поди, и до царя Ивана строили, – почесав в затылке, молвил Стенька. – Колодец, что ли? Неужто сюда, в такую глубь, за водой лазали?

– В осадном сидении и не туда за водой полезешь…

Мирон опустился на колени, заглянул в дыру.

– Колодец, да не простой! Гляди – ступеньки!

– И точно!

Они переглянулись – кому-то следовало лезть…

Стенька вздохнул – он был моложе, крепче, ловкостью Бог не обидел. Перекрестился и спустил ноги вниз.

Дыра была неширока, для спуска удобна – позволяла в стенки руками упираться. Ярыжка спускался осторожно – правой ногой ступень внизу нашарит, подошву надежно установит, потом туда же левую перенесет, постоит – и опять правой ногой вперед. Одна беда – треклятые ступени чуть ли не в аршин высотой. Ну, не аршин – так три четверти точно.

Мирон сверху то молился вслух, то советы давал – бережнее, мол, да без суеты, мол, да не поскользнись, да не рухни!

Стеньке уже казалось, что он так всю жизнь будет ползти вниз, в глубину, которая освещалась факелом все хуже и хуже. Но рука, которой он ткнул в стену, собираясь опереться, сорвалась с неожиданного края, попала в пустоту, и он чуть не рухнул со ступеней.

Как удержался – одному Господу ведомо…

Ощупав опасное место, Стенька понял – тут начинается еще один лаз, а свод его выложен тесаным камнем.

Колодец уходил вниз, в опасную глубину, лаз же был довольно широк и внушал надежду.

– Полезай за мной, Мирон! – крикнул Стенька. – Я еще нору сыскал!

– Да как же я полезу? – чуть не плача, осведомился Мирон. – Кто мне светить будет? Тебе-то хорошо – я тебе светил! А мне кто?!

Долго думали, как делу пособить, наконец догадались – воткнуть факел так, чтобы сам освещал колодец, а внизу заново разжечь огонь и смастерить новый факел. Пришлось Мирону карабкаться вверх за другой палкой, а Стеньке – терпеливо ждать.

Кругленькому Мирону спускаться было не в пример труднее, чем Стеньке, однако и он одолел каменную лестницу.

Ход, который начинался от стенки колодца, был прямой, почти в человеческий рост. То есть Мирону – еще ничего, а Стенька пригибался, и это очень его обременяло.

– Да что за людишки тогда низкорослые были? – ворчал он. – Да для кого ж такую нору возводили?…

Тут ход как-то сразу кончился, и ярыжки оказались в странном помещении, довольно длинном, нешироком и имевшем в одной из стен засыпанные снаружи землей окна.

– Господи Иисусе! – воскликнул Стенька. – Неужто тогда и храмы под землей ставили?!

Почему-то первое, что ему на ум пришло, был иконостас с высокими образами нижнего, местного ряда.

– Храм, говоришь?… – Мирон осветил факелом пол, и Стенька увидел предметы совсем не божественные – небольшие и кривоватые каменные ядра.

– Так это что же?…

– Это? – Мирон задумался. – Это для подошвенного боя, поди…

– Какого боя?

– Нижнего! Раньше пушки не только на стенах ставили. Самый нижний ряд бойниц в ров глядел. Попрут татары всей силой, через ров перебираться станут – а тут им и ядра навстречу!

Бойниц насчитали двенадцать.

– Так там, выходит, Москва-река? – догадался Стенька.

– А, может, и Красная площадь. Бойницы-то совсем древние, а сказывали, раньше там от Беклемишевской башни к Спасской широкий ров шел, на случай осады, не то что теперь…

– Стало быть, по левую руку у нас Беклемишевская, по правую – Спасская? – обрадовавшись, что подземным странствиям приходит конец, воскликнул Стенька. На башнях постоянно находились сторожевые стрельцы. Ежели заорать не своим голосом – услышат, помогут!

Он выбрал Спасскую, устремился вправо и едва не завизжал от радости, обнаружив в стене нишу, а там – высокие ступени ведущей вверх лестницы. Лестница была узка неимоверно, однако это Стеньку как раз и не удивило – во-первых, в ином дому встречаются и поуже, особенно ведущие из горниц в светлицы, а потом – это свидетельствовало, что она внутристенная. И, значит, выведет к нижнему ярусу башни!

Но между ярыжками и свободой оказалась дверь из толстых досок.

– Ну, тут мы с тобой и отдадим Богу душу, – мрачно изрек Мирон.

Он остался внизу, светил, сунув руку с факелом в нишу, и обещал Стеньке за его мысль спрятаться в погребе всякие напасти – и огромных, больше кошки, крыс, и падение на голову потревоженных камней, и смерть без покаяния…

Стенька в отчаянии навалился всем телом на дверь. Ему показалось, что дверь чуть подалась, самую малую чуточку…

Тогда он достал засапожник и стал тыкать в щель примерно в том месте, где мог бы быть замок. Засапожник препятствия не встречал, Стенька на всякий случай проверил щель сверху донизу, и лишь на уровне колен острие стало упираться в какую-то дрянь. О чем он и доложил Мирону.

– Коли десять лет в подвале полов не подметать, они на вершок точно вырастут! А там, поди, с аршин грязи накопилось, – обнадежил Мирон. – Да еще утоптанной!

Стенька еще поскреб засапожником, пытаясь расширить щель, и вдруг замер.

Не ухом, нет, а чем-то иным, внутри головы, он уловил шум. Что-то происходило за дверью, и кроме того…

– Эй, Мирон! Убирайся с факелом прочь!..

– Ты с ума съехал, что ли?

– Беги в тот ход, откуда мы вышли, забейся поглубже!.. И тихо!..

Мирон исчез, оставив его в потемках.

Теперь Стенька не только услышал, но и увидел то, что могло привести их обоих к спасению. Дверная щель чуть светилась. А шум дополнился еще и голосами.

– Нет, там нам делать нечего, с той стороны – Красная площадь, – сказал совсем близко молодой мужской голос.

– А коли тут еще нижний ярус есть? – спросил женский, тоже молодой. – А из него можно выйти к большому ходу?

– Коли нижний ярус, так это ход между Набатной и Константино-Еленинской. Если он только вообще когда-то был…

– Должен быть! – уверенно заявил женский голос. – Ну-ка, толкнись…

С той стороны кто-то принялся возиться с дверью.

– Крепко ж ее заколодило!.. Глянь – палки толстой тут нет?

– Древко от бердыша сгодится? – деловито спросила неведомая женка.

– Коли толстое – сгодится.

Дверь затрепетала – с той стороны несколько раз ударили древком куда-то вниз.

– Пусти-ка, – потребовала женка. – Крепко взялся?

– А ты?

– И я. Ну, с Богом!.. И-их! И-их!

Внутренне ликуя, Стенька спустился чуть пониже.

Щель стала снизу вверх шириться. Тут лишь он понял свою ошибку – не слой грязи мешал ему, а еще одна ступенька, и, кроме того, дверь отворялась на лестницу. А что заколодило – иначе и быть не могло, ее, поди, лет сто не шевелили!

Тем двоим, что орудовали древком от бердыша, удалось преодолеть те мертвые точки, в которых отсыревшая дверь едва ли не срослась с камнем. Это произошло внезапно, Стенька, чтобы не схлопотать древком, шагнул еще вниз и промахнулся – нога пошла мимо ступеньки и, хватаясь за воздух, он выронил засапожник. Сперва раздался звон ножа о камень, а потом – и шум от замедленного узкими стенами падения.

– Филатка, прочь! – закричала женка. – Получай, блядин сын!

– Берегись! – отвечал незримый Филатка.

И тут же грянул выстрел.

Стреляли наугад – пуля не коснулась Стеньки, а ушла куда-то вниз, к каменным ядрам. А то, что он шлепнулся на задницу и вывалился из ниши, случилось бы и само, без всякой стрельбы. От боли ярыжка взвыл – и тут же услышал топот убегающих ног.

Он выждал несколько. Те двое, наверху, не возвращались. Тогда он тихонько принялся звать:

– Мироша! А, Мироша?… Ты где?…

Мирон не отзывался. Стенька, испытывая страшную боль в самом хвостике, перевалился на бок и кое-как встал. Придерживаясь за стену, он побрел в темноте к ходу, продолжая призывать Мирона.

Оказалось, тот с факелом совсем глубоко забился, а при выстреле растерялся.

– Да ладно тебе, – сказал Стенька, растирая рукой сквозь подрясник пострадавшую задницу. – Пошли. Они там дверь-то почти отворили. С Божьей помощью вылезем…

– Куда вылезем-то? – жалобно спросил Мирон, глядя на Стеньку уже с некоторым уважением.

– То ли в Набатную, то ли в Константино-Еленинскую.

Он опять поднялся по узкой лестнице. Дверь была приоткрыта на два вершка. Но теперь уже можно было ухватиться, упереться ногами в стену и тянуть рывками. Наконец, когда щель стала в четверть с небольшим, Стенька рискнул и начал пропихиваться. Втягивая живот и всяко извиваясь, он проник по ту сторону двери. Тогда Мирон передал ему снизу факел. Стенька пристроил его между лежащими на полу камнями, что вывалились из свода, нашел брошенное женкой с ее помощником древко от бердыша и принялся бить в дверь, чтобы расширить проход для Мирона.

Тут он столкнулся с воистину неразрешимой задачей. Мирон и так-то едва-едва пропихнулся в нишу. А когда дверь распахнулась, то еще более сузила проход. Ему и нужно-то было миновать пространство меньше аршина! Однако сделать этого он никак не мог.

– Будь ты неладен! – воскликнул наконец Стенька. – Отъелся на казенных хлебах! Скажу вот Деревнину, чтобы отставку тебе дал! Ярыжка, называется! Наел чрево, как у попа, а туда же – в ярыжки!..

– Как же быть, Степа? – жалобно спросил Мирон.

– Как быть?… – Стеньке полезли в голову мысли одна другой краше.

Самая из них разумная была – коли тут, в погребах, когда-то порох хранили, поскрести по полу – авось эта грязь порох и есть, нагрести ее к косяку, да и кинуть туда зажженный факел!

А самому спрятаться за угол!

– Вот что, Степа. Ты на меня времени не трать, – мужественно решил Мирон. – Я тут останусь, а ты выбирайся. Потом за мной придешь.

– А куда ж я за тобой приду? Я тут, может, еще сутки зайцем петлять буду.

– Я на троекуровский двор вернусь. В верхнем ярусе того боярского подвала засяду. А ты, как выберешься, беги к Деревнину, растолкуй – пусть он сам за мной придет. Пусть скажет, что мы по его боярскому делу розыск вели, да и попались… Заодно и разберемся…

– В чем, Мироша?

– Почему боярин не велел в погребе нору заделать – ту, за бочкой капустной. Ведь донесли же ему! Не могли не донести! Сперва – приказчику, потом приказчик – боярину.

Стенька почесал в затылке.

– Экий узел затянулся… Есть ли что общее между младенцем, упокой Господи его душеньку безгрешную, и этими норами?

– Есть, Степа, – уверенно сказал Мирон. – А теперь ступай с Богом.

И так он это сказал – Стеньку прямо по сердцу резануло. Маленький, толстенький, только что и суетился, и ругался, и хныкал, и молился с перепугу, – а надо же! Собрался с силами и

принял единственно верное решение. И будет теперь сидеть в подвале, ждать помощи. А когда та помощь придет – неведомо…

– Ты, Мироша, попробуй бочку отпихнуть. Ты ногами вперед в ту нору забирайся, ногами ее толкай, – посоветовал Стенька, искренне терзаясь оттого, что вынужден бросить товарища.

– Коли другого пути не будет – полезу бочку выпихивать, – согласился Мирон. – Ну, пойдешь ты, блядин сын?

– Господь с тобой, – не обидевшись, отвечал Стенька и, взяв закрепленный в камнях факел, зашагал туда, откуда появились и где бегом скрылись решительная женка и ее молодой помощник. В другой руке он держал древко от бердыша. Какое ни есть, а оружие…

* * *

Дорога измучила Данилу до того, что лишь своей шляхетской гордостью и был жив. Доставив казанскому воеводе государево послание, взяв через день ответное, а все свободное время прорыскав по Казани и собрав сведения, они отправились в путь. Разве что кони малость отдохнули.

Усталость навалилась, когда уже берегом Москвы-реки подъезжали к Коломенскому.

– Да подтянись ты! – с досадой велел Богдаш. – Немного осталось, вон уж Вознесенский храм виден!

И точно – стоило поднять голову, как встала перед глазами острая белая башня, увенчанная крестом.

Показав воротным сторожам свои подорожные (бумага, выданная Приказом тайных дел, сразу внушила почтение), Богдаш и Данила въехали в обнесенное невысокой стеной Коломенское. Тут же спешились, Данила остался с конями, а Богдаш как старший поспешил вызвать через знакомого стольника кого-либо из башмаковских подьячих.

Приказ тайных дел последовал за Алексеем Михайловичем не только из государственных соображений, чтобы всегда быть под рукой, но и ради знаменитой царской потехи – соколиной охоты. Именно под Башмаковым были все сокольники, старшие и младшие, включая мальчишек, без которых не обходились при обучении молодых птиц – мальчишки шумом и погремушками мешали пернатому ученику спать, пока он от усталости не смирялся и не давался наставникам в руки. А в Коломенском охота была знатная – какой только дичи не водилось в прибрежных камышах…

Данила, стоя при бахматах, которых тоже долгий путь уморил, разглядывал обшитые тесом, изукрашенные резными вызолоченными подзорами, островерхие терема и пробегавших между ними людей.

Государь надумал строить большой летний дворец, но строил понемногу. Года за два до того были возведены немалые хоромы, однако их для растущего семейства не хватало. И сейчас помещения для царя с царицей и царевича Алексея Алексеевича были готовы, сказочно хороши, Данила даже разглядел издали деревянного двуглавого орла над государевым окошком, а хоромы царевен старших и меньших стояли неприкаянно, еще без нарядных крылечек, без гульбищ, без переходов, даже сени между помещениями царицы и царевен еще не были выстроены.

Однако уже стоял и Сытный двор, и мыльни, и поварни, и прочие хозяйственные строения. Время было обеденное – Даниле очень хотелось, чтобы Башмаков велел тут же конюхов и покормить. Все ведь уж есть собрались!

Его внимание привлекла толпа сокольников, с гомоном вывалившихся из-за угла.

Они были в нарядных малинового бархата кафтанах довольно неожиданного кроя – грудь без пуговиц, а с большим двуглавым орлом золотного шитья, и где это чудо застегивалось, сбоку ли, на спине ли, Данила не понял. Рукава кафтанов вызвали некое воспоминание – и

лишь потом, когда толпа втянулась в гульбище, опоясывавшее подклет, и быстро протекла, и исчезла за углом, он сообразил, что такие, с присборенной головкой, от плеча до локтя широкие, а от локтя до кисти – узкие, видывал он вроде бы еще маленьким в Орше или каком-то другом городишке, но не на мужчинах, а на женщинах…

И цвет, и то, как стремительно пролетели малиновые кафтаны, и даже то, что сокольники, спеша по гульбищу, были видны лишь по пояс, вдруг вызвало не то чтобы яркое воспоминание, нет – а словно иголка проколола ткань, натянутую между тем, полузабытым, и этим, не всегда радостным для Данилы миром. В крошечную дырочку устремилась душа, успела глотнуть того аромата, еще бы глоток – ан нет, затянулась дырочка. Дыши, раб Божий, тем, что дадено, не суйся к невозможному…

Данила в который уж раз дал себе слово не тратить деньги на глупости, а подкопить и уехать наконец домой, поискать родню. Хотя он обжился в Москве, а все назад тянуло.

– Ну, слава те Господи – избыли службу, – сказал, подходя, Богдаш. – Теперь и поесть не грех.

В Коломенском уже началось лето – солнце в середине дня так припекало, что впору было искать тень. Данила сперва и встал с конями под огромный, надо полагать, столетний клен, да пока Богдаш воеводин ответ отдавал, тень уползла – парень сам не заметил, как грезил наяву уже на солнцепеке.

– Ботвиньи бы теперь, – подумав, ответил Данила. – Холодненькой, с лучком, с огурчиком…

– С осетринкой! Да с севрюжинкой! – Богдаш расхохотался. – Да на ячном квасе, да чтобы хрена туда поболее!..

Данила отвернулся – коли товарищу пришла охота его вышучивать, то пусть сам с собой веселится. И к чему прицепился? Что смешного в желании отведать ботвиньи? Тем более – позавтракали сухомятиной, хлебом с солью, даже чем запить не нашлось, так торопились.

– Что, Данила? Расхотелось ботвиньи?

Парень не ответил.

– Да ладно тебе! Думаешь, я есть не хочу?

Уже не в первый раз Богдаш напарывался на такое молчаливое сопротивление. Данила не то чтобы проявлял вредный шляхетский норов, а явственно показывал, что шуток не понимает и не любит.

– Да что ты, свет?

– Чем тебе осетрина провинилась? – буркнул Данила.

– Да тем и провинилась, что соленая. А мне бы свежатинки…

– Вот дослужимся до чинов – будем свежую рыбу есть, – пообещал Данила. – Будут нам с тобой астраханских осетров живьем привозить да в пруды пускать. Вон как у боярина Милославского…

Государя всуе поминать не стал. Рыбные пруды лишь у царя да у самых богатых бояр, князей и гостиной сотни купцов были заведены. Ну, еще в иных обителях – инокам без рыбы нельзя.

– Ботвиньи, стало быть, хочется? А придется пирогом обойтись! Велено нам немедля в Хорошево ехать, дьяк письмо пишет, мы свезем. А в Хорошеве уж отдохнем денька два, пока коней соберут.

– На что коней? Государь в богомольный поход поднимается?

– Нет, иное – хочет, чтобы у него на глазах молодых стольников конской езде учили. Сюда и Семейка приедет, и наш Тимофей, и Тимофей Кондырев с Ивашкой своим, все тут соберемся!

Богдаш забежал на поварню, разжился пирогами с морковью, дали им и по ковшу овсяного кваса. Квас выпили тут же, пироги ели по дороге. Путь до Хорошева был неблизкий. До

Кремля, а от него – по Никитской, да через Никитские ворота, да все прямо, прямо – и верстах в десяти от тех ворот оно и обозначится, с заливными своими лугами, с Троицким храмом, со старым деревянным дворцом, куда любил приезжать еще покойный государь, с пустующими конюшнями – летом кони денно и нощно пасутся под открытым небом. А их всего – ни много ни мало, а четыре сотни голов наберется…

Добрались под вечер, в ту тихую пору, когда ветер унялся, небо ясно, солнце словно остановилось на небе, желая подольше греть проснувшуюся землю, и душа впадает в благостное состояние возвышенного созерцания, – тело же, повинуясь ей, отказывается напрочь от всякого лишнего движения.

Богдаш прелестями природы пренебрегал, помышляя лишь о том, как бы поужинать поскорее, разуться наконец и растянуться на сеновале. Он поспешил на поиски задворного конюха Устина Геева, который тут был за главного. Нужно было передать грамоту о приводе лошадей в Коломенское.

Данила отъехал на Головане в сторону – нашел место, откуда лучше всего были видны спокойные табуны. Особо паслись мощные возники, кони, каждый из которых был способен летом катать хозяина с семейством в санях; особо бродили статные аргамаки; особо кормились крепкие гривастые бахматы, быстрые и неутомимые. И в отдалении виднелся самый веселый табунок – кобыл с жеребятами. В Хорошеве были особые кобыличьи конюшни, куда в случные месяцы водили жеребцов из Больших и Аргамачьих конюшен, а к самым дорогим коням, которых водить по зимнему времени взад-вперед было нежелательно, доставляли невест прямо в Москву.

Любуясь табунами, парень ослабил поводья. Голован, вместе с ним проделав долгий путь, умаялся не менее Данилы и на обратном пути ни одной из своих скверных штук не выкинул. Данила и поверил, что хитрый конь смирился…

Бахмат вдруг подался вбок, и пошел, и пошел к одному ему ведомой цели! Данила поспешно взял на себя повод, но Голован был тугоузд, работу поводом понимал крайне редко – и то набирать следовало не на себя, не к седельной луке, а, отведя руку в сторону, тянуть изо всей силы. Тогда зловредный бахмат еще соглашался повернуть свою дурную огромную башку в нужном направлении.

– Тпр-р-р! – крикнул Данила. – Да стой же ты, холера!

Но Голован нес его к кустам, за которыми начиналась рощица. Тут Данила вспомнил, о чем предупреждали старые конюхи: этот подлец горазд счистить с себя всадника о дерево!

Он откинулся назад, думая всем своим весом заставить бахмата задрать башку и остановиться. Голован и не такое видывал – он исправно вскинулся на дыбки и тут же рухнул на передние ноги, задними невысоко взбрыкнув. Такое называлось «козлить» и требовало немедленного наказания. Но Данила, уже научившись вешать плеть на мизинец, еще не постиг искусства в нужный миг ею пользоваться. Хорошо и то, что в седле усидел…

У самых кустов Голован встал и потянулся мордой вперед.

Человек шагнул ему навстречу, человек в недлинной рубахе, как положено парнишке лет четырнадцати, в белых портах. На протянутой ладони лежала краюха хлеба. Конь осторожно снял ее губами с ладони, начал жевать, а человек, совершенно не обращая на Данилу внимания, взял коня двумя руками с обеих сторон под уздцы и притянул вороную башку к себе, и прижался к ней щекой.

Голован даже перестал жевать. Данила, сидя в седле дурак дураком, чувствовал: конь легонько бодается, конь требует от незнакомого парнишки ласки.

От незнакомого?

– Ульянка? – спросил Данила. – Это ты балуешься?

– Я, – отвечал парнишка.

– Так ты его подманил?

– И подманивать не пришлось.

Ульянка гладил Голована по шее, похлопывал, только что не целовал в бархатистый храп с редко торчащими волосками.

– Гляди, слезу – уши надеру, – по-взрослому пригрозил Данила.

Тогда Ульянка поднял голову и дерзко поглядел ему в глаза.

– Меня никто тут не трогает, – сурово сообщил парнишка. – Ни дядька Пахом, ни дядька Федор, ни дядька Устин.

– За что ж они тебя, пакостника, так жалеют? – удивился Данила.

– А меня кони любят. Захочу – и бахматишка твой за мной сейчас куда угодно пойдет. А помешаешь ему – скинет.

Ульянка не шутил – худенькое его лицо, прикрытое до бровей спутанными, давно не стриженными русыми космами, казалось, и не ведает, что за вещь такая – улыбка.

– Ты что же – тайное слово знаешь? – забеспокоился Данила.

Среди конюхов и впрямь жило убеждение, будто есть тайные слова, которые обеспечивают конскую покорность, и есть иные слова – чтобы кони бесились, и еще слова – чтобы домовой коней любил. Насчет домового – тут всякому понятно, эти заговоры из уст в уста передавались, но настоящее тайное слово было на Аргамачьих конюшнях пока неведомо, а то, что удавалось разведать и даже за деньги у ворожеек купить, – хоть до изумления тверди, никакой силы не имело.

– А коли знаю?

– Так поделись! – Данила соскочил с Голована и стал против Ульянки. – Я не за пятак да за так, я заплачу!

Он тут же прикинул, что и Семейку, и Тимофея, и Богдаша нужно будет взять в долю. Вон Тимофею инок дал некую молитву о скотах, полтину серебром взять не постыдился! Тимофей и решил, что коли продавец в рясе ходит, то и дело верное. А тут – парнишка нечесаный, однако как с Голованом управляется! Стало быть, вот у кого покупать-то надобно…

– Да за что заплатишь-то? – удивился Ульянка. – От ноктя заговор ты, поди, и без меня знаешь.

– Нокоть? – Данила откровенно не понял, о чем речь.

– Что, у вас на Аргамачьих не бывает?

– Мы коней холим, каждый день моем, откуда ему взяться? – не желая признаваться в своем невежестве, отрубил Данила.

– А вот коли веко у жеребчика припухнет да затвердеет – он, нокоть, и есть, – неожиданно для парня разгадав его хитрость, объяснил Ульянка. – А отчитывать – без креста, ночью, и чтоб образов поблизости не было.

Он посмотрел вниз, на свои босые ноги, и забубнил тихонько:

– Ты, змей-змеище во гнилой колоде, подойду к тебе поближе, поклонюсь пониже, у рыжего коня выешь, выщипли из ноздрей, из ушей, из челки, из хребта, из мозговой головы, из лодыжек, из костей, из суставов семьдесят семь ноктей с ноктенышком…

– Погоди! Как из костей, когда он на веко садится?! – возмутился Данила.

– Да что вы там, на Аргамачьих, совсем просты? Ты его с века погонишь, а он в ухо кинется! Ты его из уха – а он в хребет! Гнать-то сразу отовсюду надобно!

Данила поглядел на парнишку с уважением.

– И что – тебе выгонять доводилось?

– А то не доводилось… – буркнул Ульянка. – Я много чего могу, за то меня тут никто и пальцем не тронет.

– Данила! Ты и спать на Голованe ляжешь? Гляди не свались!

Кто, как не Богдаш, мог заявиться с таким предупреждением?

Желвак шел от конюшен – пешком, разумеется, и уже босой.

– Слезай, сокол ясный, – насмешливо велел он. – Да осторожнее – как день в седле просидишь, ноги спервоначалу не держат, разъезжаются.

Как будто Данила сам этого не знал!

Парень соскочил наземь, да не по-простецки, как всякий умеет – проползая пузом по седлу и конскому боку, а с удалью – перекинув ногу через Голованову башку. Этому его научил Семейка, который, как положено татарину, умел на скаку и с коня на коня перескочить, и всадника, нагнав, из седла выдернуть. Вот только прав оказался Богдаш – ноги, одурев от долгого сидения враскоряку, в воздухе не сошлись вместе, как положено, и приземлился Данила кое-как, хорошо еще, что и впрямь не грохнулся. Когда по конскому боку сползаешь – этой беды нет. А ведь знал про закавыку – и для чего ему было показывать парнишке молодецкую ухватку, сам бы объяснить не смог.

Голован, сильно удивленный этой затеей, хотел было не вовремя шагнуть вперед, спасибо – Ульянка удержал. И не под уздцы, а просто положил измазанную черным руку на храп бахмату и чуть сжал пальцами с боков.

Богдаш оценил умение.

– Вот у кого учись, – посоветовал он Даниле. – Ты, детинушка, расседлай бахмата да пусти в табун, а седло на конюшню тащи. Во-он там, с краю, наших три уже пасутся.

Ульянка кивнул и повел Голована поближе к конюшням – невелика радость за версту тащить на плече пропотевшее тяжелое седло.

Богдаш с Данилой взяли чуть левее и по тропке вышли ко дворам конюхов. Там уже собралось на лавке достойное общество, ожидавшее их рассказа о путешествии. Ждал и ужин на врытом в землю под рябиной столе – жбан с березовым квасом, пироги-луковники, комья горохового сыра в миске, и, поскольку стояло Хорошево на берегу, не переводилась у конюхов рыба. Но какая – Данила сразу понять не мог, видел только поджаристые бока в миске да и саму миску оценил – на всех хватить должно…

Кривой конюх Федор, выставив это угощение, принялся задавать вопросы. Богдаш, как старший, отвечал. Данила сидел тихонько – в Хорошеве бывал он редко, из всех собравшихся знал одного лишь конюха Пахомия, да и того в последний раз видел в Москве на Масленицу и о чем с ним толковать – не знал. Однако показать, что и он не лаптем щи хлебает, в конюшенном деле смыслит, хотелось. Данила и полюбопытствовал, почему Пахомий, который приезжал за жеребцами, чтобы вести их на случку к хорошевским кобылам, занимался этим срамным делом в такую слякоть, а как дороги просохли – так и перестал.

– Да Господь с тобой! – воскликнул Пахомий. – Я уж знаю, до какого дня жеребца к кобылкам подпускать! Кому и знать, как не мне!

Все рассмеялись.

– А с чего ты, дядя, такой грамотный? – спокойно спросил Данила.

– А с того, что зовусь – Пахомий!

– Ну и что?

– А подпускать надобно до преподобного Пахомия!

– Тут уж не спутаешь, – добавил Федор. – Видать, сам Бог его сюда, к коням, приставил – за делом следить.

– Вон оно что, – сказал Данила с таким видом, как ежели бы понял. – А я сразу и не сообразил. Точно – после Пахомия подпускать… грешно.

Тут-то он и опростоволосился.

– Да какой у жеребячьего племени грех? Ему плодиться велено! Хоть пост, хоть не пост – ему дозволено! – возразил Пахомий. – Это не грех, а глупость, коли после моих именин жеребчик на кобылку садится. Считай, коли не дурак, – ежели в мае садка была, а носит кобыла одиннадцать месяцев, то когда приплода ждать?

– В апреле? – не понимая, к чему клонит знаток случного дела, но стараясь держаться по-умному, осторожно предположил Данила.

– В апреле! То-то, что в апреле! Все кони уже на лугу пасутся, а наша кобылка еще только ожеребилась. И когда же сосунок пастись начнет? Вот то-то! А коли ожеребилась бы в феврале, то к маю сосунок бы уж вовсю пастись мог, травку жевать. Февральский жеребенок принимает к осени лишний вершок роста против апрельского или майского. Вот какая наука!

– Эту науку даже твои парнишки уже знают, – добавил Богдаш.

И со значением – мол, десятилетнее дитя, что росло при конях, умнее двадцатилетнего болвана, что вздумал корчить из себя равноправного собеседника…

– Парнишки мои глазасты. И советы уж давать начинают! – похвалился Пахомий. – Почему, тятька, Лебедю Зазнобу подвели, когда его разумнее с Павой, мол, случать? Я ему – молоко у тебя, щенка, на губах не обсохло! А он мне – так Пава ж и ростом подходит, и шерстью!

Данила притих, слушая разумный разговор.

– Жеребцов к кобылкам шерстьми подбирают в масть, и чтоб в них природных пороков не было – чтоб не седлисты, не острокостны, не головасты, не щекасты, – перечислял Пахомий, – не слабоухи, не лысы! Я ему растолковал, а он мне – так все одно Пава лучше подходит! Хоть за хворостину берись!

– Так про Паву и я тебе толковал! – вспомнил Федор.

И разговор ударился в такие подробности конских статей, что даже Богдаш, казалось, не все понимал…

Данила с Желваком хорошенько выспались, с утра Федорова теща истопила им баньку, и они наконец смыли дорожную грязь и пот. Пока парились – она простирнула им рубахи, вывесила на солнышке, дала обоим ветхие Федоровы сорочки.

В реку, как ни манила синевой, лезть еще было рано. Даже коней пока не купали. В роще – ничего занятного, не цветочки же молодцам собирать. Целый день, пока хорошевские конюхи отбирали и осматривали лошадей, которых вести в Коломенское, Богдаш сидел с давними знакомцами, вспоминал непонятные Даниле события. Данила сперва прислушивался – ему было любопытно, откуда вообще Богдаш взялся на Москве. Вот он и пытался, сопоставляя давние дела, понять…

Любопытство появилось еще и из-за тех уроков кулачного боя, которые зимой давал ему товарищ. Желвак дрался не как записные бойцы-стеночники, стеночник против него не мог устоять, и Данила хотел знать, где этому мастерству учат. Что Богдаш был подкидышем, сколько-то месяцев прожил в богадельне у старушек, потом на Никольском крестце, куда на семик богаделки вывозили сирот, попался на глаза будущим своим приемным родителям, – это все знали. Но вот куда родители увезли его из Москвы – он уже не рассказывал. А появился он тут снова еще при покойном патриархе Иоасафе, до того, как государь упросил принять патриарший чин Никона. Появился – и сразу оказался на Аргамачьих конюшнях…

Но то ли хорошевским конюхам не было дела до Желвакова прошлого, то ли по иной какой причине, но о временах совсем давних не говорилось. И Данила отправился искать более подходящего для себя общества – хотя бы Ульянку, чтобы поучил тайным словам.

В лугах разъезжали верхами здешние конюхи – в руках у них были длинные жердины, на конце у каждой – веревочная петля. Только в Хорошеве Данила узнал, что эти жердины назывались укрюками. Конюхи сверху высматривали и укрючили нужных лошадей.

Вдруг парню показалось, что от солнечного света у него в глазах позеленело. Он зажмурился, потер веки кулаками, но то, что явилось взору, было-таки наяву. Кривой Федор и еще один конюх, держа с обеих сторон за недоуздок, вели светло-зеленого жеребца! Когда подошли поближе, то оказалось, что они кроют скотину самыми что ни на есть гнилыми словами. Данила поспешил навстречу – страшно хотел узнать, что это за чудо.

– В траве, песья лодыга, извалялся! – был сердитый ответ. – Трава сочная, там вчера за пригорком полосу выкосили, он от табуна отбился и туда забрел, блядин сын!

– Так рано ж косить! – удивился Данила. Это он знал доподлинно.

– Оно и видно, что ты с Аргамачьих. Простых вещей не разумеешь! Вы-то там живой травы, поди, годами не видите, одно сено! – удерживая зеленого жеребца, отвечал Федор. – А мы примечаем, где у нас есть и дятловина, и пырей, и мелкая осока, и норовим травку скосить неделей или двумя ранее, чем бы полагалось, когда она в полном соку, и получаем целебное сенцо! Его жеребятам хорошо давать, жеребым кобылкам.

– Да откуда ему про жеребят знать, – прервал поучение товарищ Федора. – Пошли скорее, нам этого подлеца еще мыть и мыть! И то неведомо, отскребем ли.

Данила усмехнулся – так и стоял, улыбаясь, пока провожал их взглядом. Немало муки примут, пока отчистят добела веселого жеребчика – и щетками, и соломенными жгутами поработать придется.

Он снова повернулся к лугам. Москва-река сияла, играла дрожащими белыми бликами, и небо было невозможно высоким. И всякий конь казался прекраснейшим созданием Божьим, когда он, взволновавшись от незнакомого звука, быстро поднимал голову и, не шевелясь, замирал, видя разом все, что вокруг: и свою конюшню на холме, и луга по ту сторону реки, и, возможно, так же замершего, но от восхищения, Данилу на пригорке.

Особенно хороши были гнедые – на сочной зелени их шкуры гляделись особо яркими, вороные гривы и хвосты – угольными, а коли у которого ноги были в белых чулках, то и белизна казалось неслыханной яркости…

Данила подумал, что толковать о красоте с Пахомием или с кривым Федором нелепо. Разве что Тимофей понял бы его сейчас… или этот парнишка неулыбчивый, Ульянка…

Но Ульянка словно сквозь землю провалился.

Обнаружился парнишка спозаранку, когда, помолившись и позавтракав, стали ловить и взнуздывать коней, предназначенных для учения молодых стольников.

Собрав ладный табунок коней, его выстроили со смыслом: самых норовистых – вперед, где за ними будет особый присмотр, а те, что посмирнее, пойдут следом. У коней попросту – что первый делает, то и другим надобно. Первый грунью пойдет – и другие за ним следом. Первый, почуяв опасность, станет – и задних с места не спихнешь.

Данила, уже верхом на Головане, и охнуть не успел, а Ульянка уже был рядом, сидел на рыжем неоседланном аргамаке. Был он приодет, в новых лаптях, чистых онучах, в армячке, туго схваченном красным кушаком, – спозаранку было-таки прохладно. И волосы расчесаны ровненько, даже, кажется, подстрижены (тут Даниле пришли на ум те преогромные ножницы, которыми порой ровняют гривы и хвосты, хотя старые конюхи куда лучше управляются длинными, бритвенной остроты ножами).

– С нами, что ли, собрался? – спросил Данила.

Ульянка кивнул.

Даниле это показалось странным – никто из старших конюхов не говорил, что парнишка поедет в Коломенское.

Он подошел к Пахомию. Хотел узнать, не собрался ли Ульянка в дорогу без спросу, так чтобы потом не было ругани. Но Пахомий сказал, что тут – без обману.

– Он с вами только до Москвы, там его и оставите.

– А что ему за нужда туда ехать? – Данила не мог понять, для чего малолетнему Ульянке одному слоняться по большому и полному соблазнов городу.

– А такая нужда, что дед Акишев велел: всякий раз, как будет возможно, Ульянку к нему присылать. Видать, присматривается. Мы ведь и тогда, на Масленицу, его навестили.

– Вон оно что…

То, что ощутил Данила, называлось попросту – ревность. Дед Акишев, никому на Аргамачьих конюшнях о том не докладывая, покровительствовал из молодых вовсе не Даниле, как можно было подумать, глядя на его обращение, а какому-то деревенскому нечесаному парнишке! Правда, что парнишка ловок и кони его любят, однако, однако…

Очень уязвленным почувствовал себя Данила. Сразу же вспомнил, как давеча Ульянка выхвалялся своим знанием заговоров. И парнишка сделался ему неприятен – зазнайка, мало за уши таскали, нос дерет, к старшим без всякого почтения обращается… что желает, то и творит…

О том, что сам он старше Ульянки самое большее на пять лет, Данила во всплеске гордости своей шляхетской как-то не подумал.

– Ну, с Богом! – крикнул Пахомий, и кони шагом тронулись в путь.

Подъехал на своем Полкане Богдаш. Отдохнув денек, он был бодр – хоть опять буераками в Казань да обратно.

– Что заскучал? – спросил он Данилу. – Давай к нам, вперед. Где тебя вчера беси-то носили?

Данила хотел было упрекнуть, что сам же Богдаш не обращал на него ни малейшего внимания, да сдержался.

И, наверно, напрасно он это сделал. Ехал потом среди старших – и опять был никому не нужен, старшие толковали о своем, с намеками, лишь им и понятными. Довольно долго терпел Данила, но как показалась колокольня Предтеченской церкви, как завидел укрепления Земляного города, за которым, собственно, и начиналась Москва, – поотстал, оказался понемногу в хвосте.

Там присматривали за порядком двое стадных конюхов и Ульянка. Ульянка помогал старшим, держась на неоседланном коне едва ли не лучше, чем Данила – на оседланном Головане. Появляясь то справа, то слева, длинным прутом он мешал коням любопытствовать насчет придорожной зелени.

Парнишка повернул голову, посмотрел на Данилу и, видать, заметил, как тот, придерживая Голована, все норовит оказаться поближе. Надо полагать, и сам он тоже хотел в неторопливом пути хоть с кем-то потолковать. Его рыжий аргамак подался вбок – и вот уже двое, самые юные среди конюхов, ехали рядышком, и беседа вот-вот должна была завязаться.

– Как аргамака звать-то? – спросил Данила.

– А Булаткой.

– Лет ему сколько?

– Пять, шестой.

– Сам, что ли, растил?

– Сам, – и тут Ульянка чуть улыбнулся. – Я его сам впервые из конюшен выводил! Смешно – мамку вперед повели, он следом по снегу скачет, хвост – огурцом, ноги разъезжаются! Меня мамка сразу к нему подпустила. Знаешь, как они жеребенка задом в угол пихают, а сами – как волчицы голодные, на тебя глядят. Того гляди, зубами щелкать начнут!

– Нет, я с жеребятами дела не имел, – признался Данила. – Нас, конюхов, не столько коней холить, сколько по делам посылают. Иной раз по две, по три седмицы незнамо где пропадаешь. Приедешь – только и успеешь отоспаться, и тут же новый поход. Мы вот сейчас с Богданом Желваком в Казань воеводе грамоту возили.

Ульянка приоткрыл рот. Вот тут Данила и посчитался с ним за хвастовство тайными словами. Слова заучить не велика наука, а ты вот слетай до Казани одвуконь по опасным дорогам с государевой грамотой за пазухой!

– И давно ты?… – с растущим прямо на глазах уважением спросил Ульянка.

– Вторую зиму, – с достоинством отвечал Данила.

Вроде и не соврал – более года назад, именно зимой, оказался он на виду у дьяка Башмакова. Но той зимой, которую он сам желал считать первой, мало чем удалось послужить государю – разве что навозными да сенными вилами, щеткой да скребницей…

– А как в Казани? Татар, поди, полным-полно? – допытывался парнишка.

– Татар полно, – согласился Данила. – С виду на татар не похожи, а по-русски говорить не желают, лишь по-своему.

И принялся увлеченно пересказывать все, чего нахватался за это короткое путешествие.

Ему до смерти был все это время необходим младший, рядом с которым можно чувствовать себя старшим, опытным, сильным, ну – мужиком, хоть и неженатым. Ульянка оказался подходящим слушателем – даже рот приоткрыл, даже извернулся, чтобы заглядывать рассказчику в глаза. А Данила словно вина хлебнул – так из него слова и сыпались. И про живые мосты, и про лесных налетчиков, и про долгие обозы – про все разом поведать пытался.

Он был совершенно счастлив.

– И долго вы, от Москвы до Казани-то?

– Тринадцать дней туда, двенадцать – обратно, – с гордостью сообщил Данила.

– Что ж так долго?! – Очевидно, Ульянке казалось, что царский гонец должен всюду добираться за ночь пути – хоть в Кострому, хоть в Енисейск, хоть в Китай.

– Экий ты умный! – возмутился Данила. – А наше дело не в скорости. Коли кому скорость нужна – так на то ямская гоньба есть. У меня ямщик знакомый, врать не станет – от Архангельска до Вологды зимой на санях за восемь суток докатить можно. Из Москвы в Новгород зимой – четверо суток всего, летом на телеге – подольше, с неделю выйдет. Верхом гонцы за трое суток путь одолевают!

Причем, попроси кто в этот миг Данилу показать пальцем, в которой стороне будет Новгород, в которой – Вологда, был бы детинушка в огромном затруднении. Он запомнил Тимофеев спор со знакомым ямщиком – и только.

– Ишь ты!.. – позавидовал Ульянка.

– Это ли не скорость! А нас, государевых конюхов, за иным посылают. Не всегда и прямым путем едешь. Бывает, что пеш идешь и коня в поводу ведешь…

Эту радость они с Богданом как раз и испытали в избытке – было на пути такое топкое место…

– Нам главное – что велено, в целости доставить, бывает, что и золота мешок везешь…

Тут уж Данила, вконец обнаглев, приписал себе чужую заслугу, и еще многолетней давности, да ведь не напрямую заявил: я, мол, самолично мешок вез, а как бы предложил Ульянке понимать это в меру своего соображения.

Неизвестно, до каких еще подвигов дохвастался бы Данила, но перебил его песий яростный лай.

– Глянь! – крикнул Ульянка.

Данила и сам бы повернул голову на шум. Но парнишка оказался шустрее.

По улице кое-как, сильно припадая на левую ногу, бежал пожилой человек в расстегнутой зеленой однорядке. Он как мог помогал себе посохом, а в другой руке держал небольшой холщовый мешок. Как раз когда его увидел Данила, здоровенный черный пес кинулся ему на спину, повалил его и стал, рыча, добираться до горла. Другой, помельче, рыжий, наскакивал на упавшего и звонко лаял.

– Ах ты, холера! – с таким боевым кличем Данила шлепнул Голована плетью и кинулся на выручку хромому мужику, а Ульянка – следом.

Даниле повезло – наконец-то удалось ловко схватить рукоять плетки, которая на петельке, как велели старшие конюхи, висела на самом мизинце. Другое везение было – Голован совершенно не боялся собак, какой бы шум они ни подняли. Подскакав, Данила хлестнул

по серому, волчьего вида псу раз и другой, крест-накрест, пес отскочил, присел, зарычал. Тут же досталось и рыжему.

– Вон они откуда! – крикнул Ульянка, показывая на приоткрытые ворота. И решительно послал своего Булата, желая стоптать псов копытами.

– Вставай, дядя! – велел Данила мужику. – Вставай да к коням беги!

Конюхи, сопровождавшие табун, заметили неурядицу и, придерживая коней, ждали – не придется ли помогать.

Хромой приподнялся на колено, и тут силы его оставили. То ли с перепугу, то ли сердце прихватило, но стоял он, держась за горло окровавленной рукой, дергался – и ни с места. Шея вытянулась, голова запрокинулась, вороная с сильной, прядями, проседью борода подскакивала.

Погрозив псам плеткой и развернув Голована, Данила подъехал к нему.

– Держись за стремя, дядя!

Ульянка же наступал на псов, ругая их такими словами, каких отроку знать не полагалось. При этом он заставлял коня плясать, высоко поднимая копыта. Псы пятились, серый – ворчал, взлаивая, рыжий – лаял, прискуливая.

Хромой мужик уцепился за стремя, попытался утвердиться на ногах и неминуемо бы рухнул, не протяни ему Данила руку.

– Ты на посох-то опирайся! Что – крепко тебя потрепали?

– Руку погрызли, – отвечал мужик. – До горла, сволочи, добирались!..

Видя, что помощь все же нужна, подъехал Федор.

– Ну, что, подсадить, что ли?

– А подсади, молодец, Христа ради! – попросил мужик. – Сам, вишь, не уйду! Довезите хоть до Кремля – за мной не пропадет!

– Да он вам кровищей и кафтаны, и коней измарает! – крикнул Ульянка.

Данила не столько придерживал страдальца за руку, сколько тянул его изо всей силы вверх. И успел удивиться: с такой-то рожей не Христа, а Аллаха впору поминать. Чернобородый хромец и нос имел большой, с горбинкой, и брови у него срослись, причем прямо из переносицы торчал преогромный клок.

– Да ладно тебе, – отвечал Федор, соскакивая с коня. – Данила, возьми его на Голована. Тут его оставлять негоже. Чьи псы-то?

– Купца Клюкина псы, – сразу сообщил мужик. – Я к нему с добром, сговорено у нас было. А он добра своего не разумеет, сучий потрох… Псов, вишь, спустил! А коли бы загрызли?

– То и лежал бы ты тут, пока в избу Земского приказа не сволокли бы. Скидывай однорядку! Жена-то есть? Иль дети? Кому отыскать да похоронить – нашлось бы?

Говоря это, Федор сдернул с правой руки пострадавшего рукав однорядки, присвистнул, достал засапожник и отхватил махом рукав нарядной розовой рубахи.

– Да ты что? – возмутился мужик.

– А чего жалеть? Все равно прокушено да подрано.

Кровь шла из дырок повыше локтя – чем огораживался, по тому и пришлось зубами. Федор ловко обмотал раненое место, завязал, а руку в рукав вдевать не велел. Потом присел и сложил, как для принятия благословения, задубевшие от мозолей ладони. Хромой мужик поставил, словно на приступок, левую, покалеченную ногу, и Федор не вскинул его, а медленно поднял, давая возможность подтянуться руками за седло.

– Нет у меня ни жены, ни детей, – сказал, садясь, мужик, – однако найдется кому за меня посчитаться. Как звать-то тебя, молодец?

– А тебе на что? – Федор подтолкнул пятками конские бока и махнул рукой товарищам – задержка кончилась, гоним дальше!

– Знать, за кого свечку в церкви поставить.

– А Федором, – сообщил конюх, несколько удивившись, что спасенный благодарит его, а не Данилу. Оказалось, тот знал, что делает.

– А тебя я, молодец, и без того знаю, – сказал чернобородый мужик. – Тебя Данилкой звать, ты с Аргамачьих конюшен. Гордый ты – мимо храма идешь, лба не перекрестишь, нищей братии полушки не подашь.

В глазах у него было неожиданное озорство.

– Самому не хватает, – буркнул Данила. – Тебя самого-то, дядя, как звать?

– А Бахтияром. Что, скудно дьяк Башмаков платит-то? – и, словно испугавшись Данилиного изумления, спасенный сразу же добавил: – Ты, молодец, не бойся – я тебе, может, когда и пригожусь. Мне бы до Кремля добраться…

– А мы ведь к Крымскому броду коней гоним, – сказал Федор. – Это не по пути.

– Я могу до Кремля довести, – вмешался Ульянка. – По Остоженке да по Волхонке. Я и сам так пойти думал, коли хочет – вместе пойдем.

– А пойдем! – даже обрадовался мужик. – Я тебе калача куплю!

Данила сердился на него – он был сейчас совершенно некстати. Такую ладную беседу поломал! При постороннем о делах Аргамачьих конюшен говорить не полагается, конюшни – государевы, а человек – совсем чужой. Ишь – Бахтияр! Перс, что ли?

Этот вопрос беспокоил и Федора.

– А что, дядя, ты из крещеных? – спросил он. – Вроде и в церковь со свечкой собрался, а имечко у тебя бусурманское.

– Имя христианское у меня есть, – отвечал Бахтияр, – да по отцу звать повадились, так и пошло. Отец у меня точно был Бахтияр, да покрестился. Он на Москве ведомый гость был, Бахтияр Булгаков! И меня все за Бахтияра знают.

– А мать у тебя из каких?

– А кабы я знал! Матери я и не видывал, меня отцова родня растила.

– Гляди ты…

И это был еще не самый удивительный московский житель. Сюда сбредались и съезжались отовсюду, и из таких краев, что неведомо, в которую сторону казать пальцем.

Недолго ехали вместе, потом расстались. Ульянка соскочил с рыжего аргамака с той же ухваткой, что Данила, – перекинув ногу через конскую голову, но вышло это у него не в пример ловчее. Да еще и поглядел задорно – учись, мол, детинушка, тебе до меня далеко!

Бахтияр в левую руку взял посох, под правую, покалеченную, его подхватил Ульянка – и пошли себе к Волхонке.

– Как же Ульянка домой вернется? – вдруг забеспокоился Данила.

– Дедка его пешком не отпустит, непременно придумает какую-то нужду, чтобы верхом отправить, дедка его балует, – отвечал Богдаш.

Он, хоть и был верным другом, а не упускал возможности хоть малость уязвить. Но Данила усилием воли приказал себе не обижаться – уж если деду Акишеву и выбирать среди конюшенной молодежи любимчика, то уж точно не Данилу, а Ульянку.

– Правильно балует, – отрезал Данила.

Богдаш покосился и ничего не ответил. Дальше какое-то время ехали до брода молча.

Данила крепко задумался, да и было о чем.

О том, что он подчиняется не только своему конюшенному начальству, подьячему Бухвостову и задворному конюху Назарию Акишеву в первую очередь, знали свои – и только. Хождения к дьяку Башмакову и к его подьячим совершались по большей части втайне, да и редко. При необходимости доставить тайное послание дьяк сам присылал человека с уже выписанной подорожной. Если вызывал к себе, то чаще Семейку Амосова.

Видеть, как конюхи навещают главу Приказа тайных дел, могли либо его собственные служащие, либо те, кто встает в такое время, когда иной православный только спать ложится.

Данила прежде всего подумал о мужиках с Хлебенного двора. Они могли зимней ночью подглядеть случайно, как четверка конюхов входит туда, где никаких лошадей заведомо нет, и остается там довольно долго. На Хлебенном дворе с ночи тесто ставят и месят… так нет же там никого с персидской рожей!.. Или есть, да прячется?

Но государь забрал всех хлебопеков в Коломенское! Или почти всех? Кто бы мог из Верха остаться на лето в Москве? Подумав, Данила сообразил: это рукодельные девки из царицыной Светлицы, это светличная боярыня со своими женщинами, нельзя же девок без присмотра оставить, это сторожа… Может, сторож?…

Чуть не до Коломенского мучался Данила, пытаясь догадаться, кто таков Бахтияр. Назвался купеческим сыном, да поди проверь… Крещеным назвался, да кто его крест видел? … Одно беспокойство вышло парню через его добрый поступок.

А Богдаш ехал чуть впереди да посвистывал, да красиво упирался кулаком в бок, когда попадались по дороге молодые женки или девки. Баловался Богдаш – знал, что будут глядеть вслед и любоваться тусклым золотом его густых кудрей, молодецкой статью и гордой повадкой. Да только знание это, сдается, его уже не больно радовало.

* * *

– Который тут будет подьячий Деревнин? – спросил, войдя в приказное помещение, высокий светлобородый стрелец в желтом кафтане с темно-малиновыми петлицами.

Когда он шагал, левая пола отлетала и показывался светло-зеленый подбой, шапку же этот пестро одетый молодец имел вовсе серую, а сапоги с отчаянно загнутыми носами – красные. Но нарядился он так не по своему вкусу, а потому, что всем в полку Никифора Колобова велено было ходить такими райскими птицами…

В Земском приказе как раз кончался послеобеденный отдых, писцы уже почти все сошлись, понемногу подтягивались и подьячие.

– А на что тебе? – полюбопытствовал самый молодой из них, Аникей Давыдов. – Из нас, грешных, никто не сгодится?

– Государево слово и дело, – отвечал такой же молодой, нарочито суровый стрелец. – Велено Деревнина сыскать.

Приказные переглянулись.

– Послать за ним, что ли? – нерешительно спросил Давыдов. – А что стряслось-то?

Стрелец промолчал и, задрав бороду, принялся разглядывать высоко приколоченные над окнами длинные полки со всяким скарбом – книгами, свечами, коробами для столбцов, стопками еще не разрезанной бумаги, горшками с клеем и прочим добром.

К Давыдову тихонько подошел писец Гераська Климов.

– А то сбегаю, – шепнул. Но не из преданности государевой службе, а от желания поскорее узнать, что такой приход означает.

Стрелец стоял и ждал, приказные готовились принимать челобитчиков: точили перья, доливали чернил в чернильницы, брали сверху бумагу, подьячие готовили столбцы, ожидая тех, чьи дела вели и кому было назначено прийти именно в этот день и час. Наконец появился и Деревнин.

– Гаврила Михайлович, по твою душу, – тихо сказал Давыдов и уставился во все глаза: что-то будет?!

– Государево слово и дело, – настолько мрачно, насколько это вообще возможно в двадцать лет, повторил стрелец. – Пойдем отсюда прочь.

Приказные так и ахнули – неужто Деревнин на чем противозаконном прихвачен? Осторожен же, хитер, и от жадности умом не повредился! Что за притча?

Стрелец с подьячим вышли из помещения Земского приказа и тут же вошли в ближние к нему Никольские ворота. Возле ворот была в стене дверь, через которую можно было попасть в Никольскую башню.

– Сюда, – велел стрелец.

– Да что за дело-то? – спросил, все более удивляясь, Деревнин.

Но тот, ни слова не говоря, первым стал подниматься по деревянной лестнице. Пришлось следовать за ним.

Кремлевские башни поверху соединялись длинными, выложенными кирпичом, идущими поверх стен ходами с частыми бойницами. Ночью по ним расхаживали сторожевые стрельцы. Как раз таким путем повели Деревнина к Спасской башне, оттуда – к Набатной, и так до самой Беклемишевской. А там уж стрелец стал спускаться вниз.

Деревнину чуть дурно не сделалось – он вспомнил, что подземелье Беклемишевской башни издавна использовалось как узилище. Не может быть, чтобы оно понизу не соединялось с погребами Константино-Еленинской башни, а уж там, как подьячему было доподлинно известно, тоже располагались темницы, пыточная же – и вовсе под отводной стрельницей, чуть ли не под ногами у тех жителей Зарядья, что, огибая храм Василия Блаженного, идут к Спасским воротам Кремля!

Внизу Деревнина встретил стрелецкий сотник.

– Наконец-то пожаловал, – приветствовал он подьячего. – Мы тут уж не знаем, какому святому молиться. Пошли!

Спустились еще на один пролет каменной лестницы, вошли в коридор, где уже было довольно темно. Сверху спустился рядовой стрелец со слюдяным зажженным фонарем. Из глубины коридора появился человек в шубе, невзирая на почти наступившее лето, и с факелом.

– Ну, благословясь! – сказал стрелецкий сотник, подвигая засов и ногой распахивая дверь. – Гляди, подьячий! Твое добро?

– Царь Небесный, Пресвятая Богородица! – воскликнул Деревнин и хотел перекреститься, да рука застыла в воздухе.

На него глядела грязная синяя рожа – волосы взъерошены, на плечах висит мокрое тряпье, руки тоже синие, вдруг вытянулись прямо к Деревнину и стрельцам, затрепетали!..

– Сгинь, рассыпься! Наше место свято! – отмахнулся от чудища подьячий.

– Гаврила Михайлович! – взвыло чудище. – Да я ж это!..

Всяким видывал своего подчиненного Деревнин, таким – еще не доводилось.

– Твой человечишка? – строго спросил стрелецкий сотник.

– Мой, – обреченно молвил Деревнин. – Где ж вы его такого изловили?

– Гаврила Михайлович!.. – завопил Стенька. – Да я…

– Цыц! С тобой у меня потом разговор будет! – окончательно придя в себя, рявкнул подьячий. И, доставая из-за пазухи кошель, обратился к сотнику: – Прости, не знаю, как тебя звать-величать…

– Зови Яковом.

– А по батюшке?

– Григорием батьку звали, – и сотник усмехнулся, глядя, как из кожаного кошеля появляется серебряная полуполтина. И деньги – немалые, и то, что серебро, – особо дорого. Когда медных денег развелось немерено, да половина из них – воровские, серебро особенно уважать начинаешь.

– Так скажи мне, Яков Григорьевич, сделай милость, где вы моего ярыгу изловили? И с чего вдруг – слово и дело государево?

– Это он сам закричал, – принимая полуполтину, объяснил сотник. – А кабы не закричал – быть бы ему на том свете.

– Гаврила Михайлович! – едва не заскулил Стенька. – Вели, чтобы мне хоть ведро воды принесли! На мне глина обсыхает, я потом ввек не отмоюсь!

– Засохнет да и обсыплется. Так ты говори, Яков Григорьевич.

– Знаешь, под Кремлем несколько труб проходят, по ним сточные воды в реку сливаются. Вот он из такой трубы-то на берег и выполз. Она за башней под застенком проходит и возле самой воды открывается. Стрельцы сверху заметили, закричали, прицелились в него. Он возьми да и заори. И стоял там, в воде по пояс, ждал, когда за ним придут. Его в Тайницкую башню забрали, он знай одно твердит – слово и дело государево, а говорить буду только с Земского приказа подьячим Деревниным. Я его сюда забрал да за тобой послал.

– Правильно сделал, Яков Григорьевич, – еще раз польстил Деревнин непривычному к такому обхождению сотнику. – Мне что сделать надобно, чтобы ты мне его отдал? Под расписку, или как в таком случае положено?

Деревнину еще не случалось вызволять ярыжек Земского приказа у сторожевых стрельцов, вот он и недоумевал: не ведут же они особых тетрадей, чтобы отмечать пойманных в Москве-реке синих бесей?

– Коли ты его признал, так и забирай, мне он без надобности. Приснится еще, не дай Господи, такая образина! Молодцы думали – сатана из реки лезет! А что до слова и дела…

– Он, блядин сын, розыск важный ведет, разведал что-то важное, поди, – шепнул подьячий сотнику.

– По воровским деньгам? – обрадовался сотник. – Коли так – забирай его поскорее, пусть до правды докапывается! Моей женке, уж на что баба ушлая, алтын на торгу всучили. Божится: в руках держала, разглядывала – правильный был, с Денежного двора, печать четкая. Домой принесла – воровской! Печать – чуть видна! Эй, Прошка! Есть там у нас вода? Тащи ведро!

Стенька первым делом содрал с себя рясу с рубахой и башку в воду сунул, тормошил ее, ерошил и полоскал. Потом скрученной жгутом рубахой тело обтер. Посмотрел на порты с сапогами, да и махнул рукой. Поболтав напоследок в ведре рубахой, отжал ее неуклюже, попытавшись повторить ловкое движение Натальи, и мокрую натянул на себя, и мокрым же поясом подпоясался, и встал перед Деревниным навытяжку – мол, опять готов в огонь и в воду!

Деревнин едва не застонал – когда Стенька вот так выкатывал радостные глазищи, можно было ожидать каких угодно подвигов.

– Ну, хоть и не совсем человеческий образ, но и не бесовский, – заметил сотник. – Ступайте оба наверх, а оттуда вас Прошка выведет. Прошка! Сбегаешь, извозчика им поймаешь!

Великие дела творит серебряная полуполтина!

Опять подьячий шел верхним ходом, впереди – немолодой шустрый стрелец того же колобовского полка, позади, хлюпая сапогами, – Стенька. Выпустили их из Спасских ворот, стрелец просил подождать малость, добежал до Варварки, нанял им извозчика без ряды. Стенька забрался в тележку первым и сразу обернулся рогожей, чтобы не замочить севшего рядом Деревнина.

– Куда везти-то?

К Стенькиному изумлению, Деревнин велел везти к себе домой. Потом Стенька догадался – если бы его, горемычного, в таком непотребном виде доставить в приказ, смеялись бы не только над ним – и подьячему бы досталось.

Ехали молча: не то место извозчичья тележка, где розыском заниматься.

Деревнин был давно и счастливо женат. Супруга его, Анисья Марковна, мужа уважала и за годы совместной жизни была приучена держать язык за зубами. Увидев Стеньку, она ахнула и взялась за дело. Он и опомниться не успел, как был отведен в холодную мыльню, туда ему принесли с кухни нагретой воды, выдали лохань, выдали корыто, выдали старую простыню, сама хозяйка куска мыла не пожалела. Деревнин, чтобы времени зря не терять, сел на лавку в предмылье, громко расспрашивал, Стенька же, то отфыркиваясь, то булькая, отвечал.

– Рожа-то с чего такая синяя была?

– Гаврила Михайлович, я в ход забрел, там синей глины по колено, как каша, и рыбья в ней чешуя, и скорлупа яичная, и кости мелкие, и всякой дряни намешано! Поскользнулся, грохнулся…

– А в ход как угодил?

– Гаврила Михайлович! – Стенька так неожиданно заорал, что Деревнин подпрыгнул на лавке. – Мирона спасать надобно!

– От кого?!

– Он в троекуровском подвале сидит, выбраться не может!

– А ты, выходит, его там одного оставил, а сам улизнул?

– Ох, Гаврила Михайлович, да я ж чуть не весь Кремль под землей прошел!

– Как это – весь Кремль?! – вскричал подьячий, да чуть сам себе рот ладонью не захлопнул.

Тайные лазы и ходы – дело такое, что всем о них знать не велено. Разве что государь и ближние бояре должны знать, а простой подьячий – только в том случае, когда государь прикажет поглядеть да обмерить, как лет десять назад велел стрельцам-дозорщикам трижды обойти кремлевские стены да составить опись всех прорух и ветхостей, которые с течением времени произошли.

В ответ на вскрик начальства Стенька в мыльне понуро развел руками – мол, сам понимаю, в какую неприятность вляпался.

С трудом добился Деревнин, чтобы Стенька изложил ему все похождения по порядку. Когда дошло до стрельбы из-за двери, ярыжка, кутаясь в простыню и растираясь поверх нее, выбрался из мыльни, но рядом не сел, а прислонился лопатками к стене.

– Бес с тобой, садись, – пользуясь тем, что в мыльнях образов обычно не вешали, позволил себе выразиться подьячий. При образах-то нечистую силу поминать не положено, а без них – вроде и не грех.

– Не могу, Гаврила Михайлович, самый хвостик ушиб. Я и в телеге-то еле держался, боком пристроился.

– Про все эти ходы и тайники – молчи, Христа ради, – то ли попросил, а то ли приказал Деревнин. – Не наше то дело. Выходит, так вы, голубчики мои, ничего и не разведали?

– А разведали, да только сами не поймем – что. Видели мы человека, который младенца мертвого на боярский двор принес. И описать его могу, коли прикажешь, Гаврила Михайлович.

– Одевайся, пойдем ко мне, там опишешь. Вон тебе Марковна с девкой сухую рубаху прислала, порты. Башку-то разотри хорошенько! Из бороды воду выгоняй!

После такой обработки волосы и борода были почти сухи, зато простыня пошла голубыми пятнами.

– Ничего, бабы отстирают, – сказал Деревнин огорченному Стеньке. – Сегодня же в баню сходи – вся грязь не отмылась. Пошли в столовую палату.

И первым вышел в сенцы, стал нетерпеливо подниматься по лестнице, Стенька босиком – за ним. Сапоги, набитые сухой соломой, стояли на дворе – сохли.

С того дня, как Стенька был тут в последний раз, добра поприбавилось. Поставец появился в углу с нарядной посудой. Стенька подошел и разглядел все хорошенько, пока Деревнин отгибал с краю скатерть, стелил для бережения кусок синего сукна, доставал перницу и чернильницу…

Даже ежели не глядеть на богатый двор, на чисто одетую челядь, одного этого поставца хватило бы, чтобы понять, что хозяева живут неплохо. Стояли там шандалы серебряные столовые, для богатого пира, серебряные же медвяные чарки, из которых две были золоченые, а у пяти – золочен лишь венчик, блюда, кубок-виноград, наподобие грозди с необычной величины ягодами, большая солонка, по серебряным бокам которой наведены были золотом травы,

а также вещицы, которые привезли купцы из самого Китая, – ценинные. Это были чаши, большая сулея, по которой вились диковинные головастые и рогатые ящерицы, кувшины и стопка блюд, белых и пестрых. Там же на подставках возвышались преогромное яйцо – говорят, от птицы строфокамил, – и бурый, поросший дурным волосом индийский орех.

Тут же были и часы-медведь с боем.

Знал свою выгоду подьячий Деревнин! От хорошего подарка не отказывался. Опять же, и времечко такое – с деньгами непонятно что деется, надежнее все заработанное в золото да в серебро обращать, а не в кубышку складывать.

– Ну так что там был за человек в рясе и с мешком? – напомнил Деревнин.

Стенька торопливо примостился боком на лавку, схватил перо, ткнул его в оловянную чернильницу с синими чернилами, взял с верха стопки нарезанной под столбцы бумаги два листа, пристроил их с подьяческим щегольством на колене и принялся лепить одну за другой впритык быстрые буковки с жирными росчерками – наловчился!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.